

Л. Б. ТВЕЛЬКМЕЙЕР

МОЙ ОТЕЦ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ Л. Б. ТВЕЛЬКМЕЙЕР (РОЗИНГ)

Подготовка текста, предисловие *Е.М. Балашова*,
примечания *Е.М. Балашова* и *А.А. Михайлова*

L. B. Tvelkmeyer (Rosing). My father and his environment. Preparation of the text and preface by E. M. Balashov, notes by E. M. Balashov and A. A. Mikhailov. Memoirs by L. B. Tvelkmeier (Rosing) (1898–1980) tell a story of her family, from the times of Catherine the Great on. The main protagonist of the memoirs is her father, Boris Lvovich Rosing, an outstanding Russian electrotechnician, founder of electronic television. Much attention is paid to the circle of his friends which included a number of well-known people of that time. Written in an easy and informal manner, the memoirs contain not only detailed information on traditions and the lifestyle of the Rosing family, but also vivid and detailed description of some aspects of the social, cultural and everyday life in St. Petersburg (Leningrad) in the 1910s and 1920s, as well as the one of other towns and areas, where the events described by the author were taking place.

Как следует из названия публикуемых ниже воспоминаний Лидии Борисовны Твелькмейер (1898–1980), в центре внимания мемуаристки находится фигура ее отца Бориса Львовича Розинга, выдающегося русского ученого-электротехника, основоположника электронного телевидения. Борис Львович родился 20 апреля 1869 г. в С.-Петербурге, в семье дворянина, действительного статского советника Льва Николаевича Розинга. В 1887 г. будущий изобретатель окончил 9-ю С.-Петербургскую (Введенскую) гимназию с золотой медалью и в 1891 г. — физико-математический факультет С.-Петербургского университета с дипломом первой степени. Как один из лучших студентов он был оставлен на кафедре физики для подготовки к профессорскому званию, в 1893 г. получил ученую степень кандидата за новаторские исследования в области магнетизма. С 1892 г. Борис Львович читал курс лекций в С.-Петербургском технологическом институте, с 1895 г. — в Константиновском артиллерийском училище, где он заведовал физическим кабинетом и лабораторией. Кроме того, будучи одним из инициаторов высшего женского образования в России, с 1906 г. он преподавал в Женском политехническом институте, где являлся деканом электротехнического факультета.

Продолжая заниматься вопросами магнетизма, Б. Л. Розинг заинтересовался проблемой передачи изображения на расстояние, тем, что он называл «электрической телескопией», и достиг в этой области значительных успехов. Он первым сделал вывод о бесперспективности способов передачи изображения на расстояние при помощи оптико-механических систем и создал первый в истории электротехники механизм воспроизведения телевизионного изображения с использованием электронно-лучевой трубки — прообраза современного кинескопа в качестве приемного устройства. Таким образом, он стал изобретателем основного принципа устройства и работы современного черно-белого телевидения. Он получил ряд патентов: в 1907 г. в России на «Способ электрической передачи изображений на расстояние», в 1908 г. в Великобритании — на «Новый, или улучшенный, метод электрической передачи на расстояние изображений и аппаратуру такой передачи», в 1909 г. в Германии — на «Способ электрической передачи изображений с приемом изображений при помощи электронно-лучевой трубки». Осенью 1910 г. Розинг выступил в Русском техническом обществе с докладом «Об электрической телескопии и одном возможном способе ее выполнения».

В докладе он высказал мысль о том, что единственно правильный путь реализации телевидения состоит в применении безынерционных электронных приборов. Эту задачу можно решить лишь при помощи электронного пучка. В лаборатории Технологического института 9 мая 1911 г. Розинг при помощи созданных им приборов впервые в мире осуществил мечту многих зарубежных физиков, бившихся над этой проблемой долгие годы, — реальный процесс передачи изображения на расстоянии, что произвело сенсацию в научном мире. В 1911 г. он вновь получил патенты в России, Англии, Германии, а также в Соединенных Штатах на изобретение *«Телевизионной системы, использующей модуляцию скорости электронного пучка»*. Русское техническое общество, отмечая заслуги Б. Л. Розинга в области электрической телескопии, наградило его в 1912 г. Золотой медалью и премией имени почетного члена общества К. Ф. Сименса.

В сентябре 1917 г. Б. Л. Розинг переехал с семьей в столицу Кубани Екатеринодар. С начала 1918 г. он стал инициатором организации в этом городе Северокавказского политехнического института, в котором преподавал до закрытия института осенью 1923 г. В 1920 г. он создал в Екатеринодаре Физико-математическое общество и стал его председателем. Общество являлось членом Русской физической ассоциации, оно вело активную работу, не прекращавшуюся даже в голодном 1922 году. На Кубани Б. Л. Розинг готовил работу, подводившую итог его исследованиям в области телевидения — книгу *«Видение на расстоянии. Ближайшие задачи и достижения электрической телескопии»*, опубликованную позднее в Петрограде.

После возвращения в Петроград Б. Л. Розинг продолжал активную научную и преподавательскую деятельность. Наряду с чтением лекций в Технологическом институте в 1924–1931 гг. он вел научную работу в Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории в 1924–1928 гг. и в Центральной лаборатории проводной связи в 1928–1931 гг. С головой погруженный в научно-технические и изобретательские проблемы, он был далек от участия в каких-либо политических течениях, и тем более в организациях. Однако это не спасло его, как и многих других представителей российской интеллигенции, от фальсифицированных ГПУ обвинений и репрессий, начавшихся с конца 1920-х годов. Бориса Львовича арестовали 8 февраля 1931 г. Несмотря на то что конкретных обвинений ему не было предъявлено, вскоре последовал приговор: трехлетняя ссылка на поселение на Север. В мае того же года ученого выслали в окрестности Котласа, в рабочий поселок Лименда. С этих пор связь с близкими ему людьми поддерживалась в основном посредством почтовой переписки. Изредка его могли навещать жена и дочери.

В декабре 1931 г. Б. Л. Розинг, по ходатайству родственницы его жены Е. Д. Стасовой (известной партийной деятельницы), был переведен в Архангельск. Здесь он, при содействии профессора Архангельского лесотехнического института П. П. Покотило, получил разрешение работать в физической лаборатории этого учебного заведения. В ссылке он продолжал деятельную творческую работу, занимался изобретательством, готовил научные публикации. Это прекрасно отражено в публикуемых воспоминаниях, в частности в материалах переписки с родными. Однако северный климат, тяжелые условия существования и, главное, сильные нервные потрясения подорвали здоровье Б. Л. Розинга, результатом явилось нарушение мозгового кровообращения. При этом достаточно регулярная медицинская помощь отсутствовала, и болезнь прогрессировала, он чувствовал себя все хуже и хуже. 20 апреля 1933 г. Борис Львович скончался.

Б. Л. Розинг является автором значительного количества научных, учебных и научно-популярных работ в области физики и электротехники: О магнитном движении вещества. СПб., 1892; Динамическая теория магнетизма железа, с точки зрения гипотезы магнитного движения вещества. СПб., 1896; Действие на расстоянии. М., 1902; Записки по физике: Свет. СПб., 1905; Введение в электротехнику. СПб., 1914; Видение на расстоянии. Ближайшие задачи и достижения электрической телескопии. Пг., 1923; На заре положительного знания (Галилей, Гюйгенс и Ньютон). Пг., 1924; Механика в жизни. Л., 1924; Электрические и магнитные измерения в элементарном изложении. Л., 1926, и др. Более подробные сведения о жизни и деятельности Б. Л. Розинга можно найти в изданиях: *Горохов П. К.* Б. Л. Розинг — основоположник электронного телевидения. М., 1964; *Блинов В. И., Урвалов В. А.* Б. Л. Розинг. М., 1991; *Купайгородская А. П.* Б. Л. Розинг: Последние годы жизни // Деятели русской науки XIX–XX веков: Исторические очерки. СПб., 1996. Вып. III.

Воспоминания Л. Б. Твелькмейер интересны прежде всего тем, что предоставляют нам материал для характеристики личности крупного ученого-изобретателя, его семьи и родственников, круга друзей и знакомых, который включал немало известных людей своего времени. Но не только этим определяется их значение: мемуары содержат живое и детальное описание некоторых сторон социальной, культурной и бытовой жизни С.-Петербурга (Ленинграда) 1910-х — 1920-х годов, а также других городов и местностей, где происходили описываемые события. Автор весьма ярко и образно передает духовную атмосферу эпохи с точки зрения не только взрослого сознания, но также детского и юношеского восприятия.

Публикуемые воспоминания существуют в двух идентичных вариантах: авторском машинописном черновике и позднейшей машинописной копии. Оба варианта, так же как и прилагаемые фотодокументы, хранятся в семейном архиве дочери Л. Б. Твелькмейер Инны Викторовны Нельсон.

Биографическая справка о Л. Б. Твелькмейер

Лидия Борисовна Твелькмейер родилась в 1898 г. в С.-Петербурге. В семье ее отца, профессора физики Бориса Львовича Розинга, в которой она являлась старшим ребенком, были еще две дочери: средняя — Тамара и младшая — Татьяна.

В 1916 г. Лидия Борисовна Розинг окончила известное и старейшее в С.-Петербурге немецкое училище Петершуле (St. Petri-Schule) при евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра, затем поступила на архитектурный факультет Женского политехнического института. Учеба была прервана в сентябре 1917 г. из-за отъезда семьи на Кубань, в г. Екатеринодар. В 1918 г. она стала студенткой архитектурного факультета Северокавказского политехнического института, организованного ее отцом Б. Л. Розингом. По возвращении в Петроград весной 1922 г. Л. Б. Розинг продолжила образование во 2-м Политехническом институте (так назывался в это время бывший Женский политехнический), затем перешла в Академию художеств, которую окончила в 1925 г., получив диплом архитектора-художника.

В том же году она вышла замуж за выпускника Академии художеств, архитектора-художника Виктора Федоровича Твелькмейера; в 1931 г. у них родилась дочь Инна.

Л.Б. Твелькмейер. Мой отец и его окружение

В 1920-х — 1930-х годах Лидия Борисовна работала в архитектурно-проектных организациях Ленинграда. По ее проектам был построен ряд зданий и сооружений в нескольких городах СССР.

Весь четырехлетний период Великой Отечественной войны, включая тяжелейшее время блокады Ленинграда, Лидия Борисовна с семьей прожила в родном городе, занималась проектированием бомбоубежищ и изготовлением маскировочных материалов в оборонной мастерской Отдела изобразительных искусств Ленинградского городского комитета Союза работников искусств. В 1942–1944 гг. работала в Ленинградской инспекции по охране памятников истории и культуры, проводила обмеры сооружений города, составляла акты ущерба, нанесенного Ленинграду немецко-фашистскими захватчиками. Награждена медалями: *«За оборону Ленинграда»* и *«За доблестный труд в Великой Отечественной войне»*.

В 1943 г. Лидия Борисовна начала преподавательскую деятельность на архитектурном факультете Ленинградского инженерно-строительного института, где работала до выхода на пенсию. Там же в 1953 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему *«История исследований и обмеров архитектурных памятников античности»*.

Л. Б. Твелькмейер скончалась в 1980 г., похоронена на Волковом православном кладбище.

Свои «Воспоминания» Лидия Борисовна написала в 1975–1978 гг.

Л. Б. Твелькмейер

МОЙ ОТЕЦ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

Из своего личного опыта [я] убедился, что для успешной работы изобретатель должен обладать главнейшими качествами: 1) хорошей подготовкой в области физико-математических наук, 2) большим воображением, 3) независимостью суждений и способностью не обескураживаться никакими неудачами и 4) склонностью к уединенной и напряженной умственной работе.

(Автобиография [Б. Л. Розинга])

Предки, родители, родственники

Мой отец писал в своей неоконченной автобиографии:

Мой предок, Розинг, служивший при Павле I, происходил, как это видно из его «формулярного списка», из аптекарских детей. Так как аптекарскими детьми назывались в то время потомки тех химиков, минералогов и других ученых иностранцев, которые были приглашены Петром I в Россию для развития наук и техники, то я вижу в этом своем происхождении некоторое объяснение того стремления к точным наукам, которое непрерывно чувствую в себе со своего раннего возраста

Розинги вскоре обрусели, женились на русских и перешли в православие. При Екатерине II получили потомственное дворянство и служили чиновниками. У отца хранилась грамота о пожаловании дворянства, подписанная Орловым¹. Один из Розингов был вице-губернатором в Саратове (?).

Другой из поздних моих предков, служивший при Николае I² [писал далее Б.Л. Розинг в автобиографии], был, по-видимому, человеком независимым, относившимся к окружающему с юмором. Его имя стало известным в истории русского фарфора по следующему поводу. Однажды местным заводом была изготовлена копия с английской статуэтки, изображавшей монаха, несущего на спине женщину, прикрытую сном. Когда для расследования этой неприличной по тому времени выходки, была назначена комиссия, то он, будучи председателем комиссии, донес в результате расследования, что в этой статуэтке комиссия не нашла ничего предосудительного, так как она (статуэтка) изображает собой будто бы только чувство милости и милосердия со стороны монаха по отношению к несомой им женщине. За этот отзыв ему был объявлен по высочайшему повелению строгий выговор*.

Розинги обосновались в Нижнем Новгороде, имели там поместья и были приписаны к нижегородскому дворянству. К началу XX в. осталось из поместий только одно, остальные были прожиты. Последняя владельница этого имения, Елизавета Розинг, постриглась в монахини и основала там монастырь, где была игуменей.

Бабушка отца была урожденная Корвин-Златогурская, польского происхождения. Корвин-Златогурские, как и все другие Корвины (Корвин-Круковские и др.), считали,

* Иванов Д.Д. Искусство фарфора. М.: Гос. изд., 1924. С. 29.

что они ведут свое происхождение от венгерского короля Матиаша Корвина³, и придавали этому большое значение. Так как отец являлся последним представителем этого рода, хотя и по женской линии, то его внучатый дядя хотел, чтобы он прибавил к фамилии Розинг и фамилию Корвин-Златогурский, собирався подавать об этом прошение на «высочайшее имя», как тогда говорилось, но отец от этой затеи отказался. Но все же происхождение от Корвина, хотя и ничем не доказанное, ему нравилось, так как Матиаш Корвин (1458–1490), был одним из просвещенных правителей своего времени, до сих пор очень чтимый в Венгрии, покровитель наук и искусства, при нем получило в Венгрии развитие искусство Ренессанса. На память об этом своем «предке» отец хранил старинную печатку с гербом Корвин-Златогурских.

Мой дед, Лев Николаевич Розинг, родился в Нижнем Новгороде 6 января старого стиля 1825 г. и окончил курс в Нижегородской гимназии. Свою службу он начал в 1841 г. в Нижегородской палате государственных имуществ и занимал там различные должности до 1847 г., когда переехал в Петербург, где определился на службу в департамент Министерства юстиции в 1848 г. канцелярским чиновником, затем перешел в Департамент уделов.

В Петербурге служил до 1853 г., затем был определен в штат канцелярии начальника Подольской губернии на должность правителя канцелярии. В 1864 г. был откомандирован в Петербург в учрежденную тогда комиссию для пересмотра рекрутского набора. В 1870 г. был назначен чиновником особых поручений при начальнике Главного Штаба графе Гейдене⁴, а затем откомандирован делопроизводителем в комиссию для составления положения о личной воинской повинности. В 1879 г. вышел в отставку в чине действительного статского советника, по «прошению за болезнью был уволен от службы с мундиром и пенсией» (Аттестат)⁵.

Лев Николаевич был, несомненно, очень ярким и своеобразным человеком, сын считал, что очень многое он унаследовал от него: «Мой отец, не получивший специального математического образования, был очень вдумчивым человеком и до глубокой старости интересовался математикой, механикой и занимался изобретением точных весов, летательной машины. Он-то и сообщил мне первые сведения из этих наук». (Автобиография [Б. Л. Розинга]). Как вспоминала двоюродная сестра отца, Вера Александровна Сергеева:

Жили они тогда на Петроградской стороне, на Ораниенбаумской улице, в деревянном доме во 2-м этаже. Весь чердак был загроможден досками, бревнами, металлическими листами, в углу в куче лежали гвозди, винты, крючки, а на столе — толстые нитки и иголки. Это была мастерская Л[ьва] Н[иколаевича], где он проводил большую часть своего времени. Здесь мы, дети, находили и готовые модели. Борис зорко следил, чтобы мы чего-нибудь не утащили вниз.

На моей памяти дедушкин кабинет (уже на Николаевской улице⁶, д. № 61) был завален рукописями с вычислениями, покрытыми пылью и нюхательным табаком, он не позволял у себя убирать, чтобы прислуга что-нибудь не перепутала. Лежала громадная лупа, с которой он читал, зрение к старости у него ослабело. Бабушка нам, детям, не позволяла туда заходить — «у дедушки — пыль», вообще она относилась к дедушкиным занятиям без уважения, как к причудам. Дедушка был человеком обеспеченным, с хорошей пенсией, и свободным. Но никогда не был праздным, голова его всегда была полна идей, не всегда практически осуществимых, он был человеком увлекающимся. Сын же очень ценил его и прощал ему слабости, беспоря-

дочность, безалаберность, мнительность, даже любил у себя в старости обнаруживать эти свойства, которые были ему милы.

Женился дедушка вторым браком на Людмиле Федоровне Сергеевой, нашей бабушке; она была родом из Украины и любила вспоминать привольную южную жизнь, как на Пасху пекли куличи и кружевные бабы на яйцах, — такой высоты, что для этого в саду выкладывалась особая печь. Отец бабушки был военным аптекарем на Шосткинском пороховом заводе, мать — урожденная Выходцева, Мария Ивановна, родом из Путивля, дожившая до глубокой старости в Петербурге, в доме у бабушки.

От первого брака у дедушки были две дочери, Екатерина и Надежда, но Екатерина была, видимо, или приемной, или незаконной, во всяком случае, в послужном списке Льва Николаевича помечена только Надежда Львовна.

С Людмилой Федоровной у них было двое детей: Александра Львовна и, на два года моложе, единственный сын, мой отец, родившийся 8 апреля старого стиля 1869 г. Брак Льва Николаевича и Людмилы Федоровны был, видимо, не очень счастливым, они были разные люди. Дедушка был натура широкая, увлекающаяся, бабушка, наоборот, практичная, трезвая, все интересы ее были сосредоточены на детях и внуках. Она часто уезжала к дочери, бывшей замужем за военным полковым врачом Петром Павловичем Глаголевым, а после ее ранней смерти от туберкулеза бабушка совсем переселилась к зятю и посвятила себя целиком осиротевшим внукам. В Петербурге она бывала только наездами, так что в старости дедушка большей частью жил один с прислугой, которая пользовалась его непрактичностью, и сыну приходилось вмешиваться и наводить порядок в его хозяйстве. В денежных делах дедушка был совершенный ребенок, деньгам счета не знал, был очень щедр и щедро раздавал милостыню, так что местные нищие все его знали и караулили его выходы у подъезда. Под конец жизни прислали жить с ним его старшую внучку, Христину, дочь Надежды Львовны, она поступила в музыкальную школу и смотрела за дедом, пока не вышла замуж.

Внешне дедушка был некрасив, худой, высокого роста, с маленькими голубыми глазами и толстым носом, со всегда всклокоченной седой бородой. Он был немножко похож на своего тезку — Льва Николаевича Толстого. Ходил он на улице в черной крылатке, в фуражке с дворянской кокардой. Несмотря на хорошее здоровье, он постоянно лечился от воображаемых болезней; когда чувствовал себя простуженным, сидел в комнате в пальто и шапке, нахохлившись. До глубокой старости очень любил ходить пешком и был неутомимый ходок. Его внучка Христя вспоминала, как в один из приездов к ним он всех удивил. Они жили летом в маленьком имении под Екатеринославом, в 40 верстах от железной дороги, так что путешествие туда из Петербурга для уже старого человека должно было быть очень утомительным. Дедушку ждали с приготовленной постелью, чтобы он мог сразу лечь отдыхать, а он, умывшись и выпив чаю, сразу — «а где у вас красивые места?» — и заставил всех идти гулять, да таким темпом, что и молодежь загнал.

Характер у Льва Николаевича был беспокойный, воображение сильно развито. Он вечно придумывал себе причины для тревог, особенно он беспокоился о единственном сыне. Если сына, уже взрослого, не было дома и он задерживался с возвращением, дед места себе не находил, придумывал разные ужасы, поминутно выглядывал в окно во двор: «Не Борис ли там лежит?». Сыну он, конечно, очень докучал такой опекой, хотя по возможности скрывал свои тревоги. Вспоминал отец один забавный случай. Он сильно переутомился от занятий в университете, и ему было

предписано врачом рано ложиться спать. В один из вечеров к нему зашел двоюродный брат и засиделся сверх положенного времени. Во время разговора кто-то из них случайно поднял голову и, к своему удивлению, увидел в дверной фрамуге дедушкину физиономию. Дедушка подставил лестницу со стороны коридора и пытался жестами и страшными глазами дать гостю понять, что пора уходить, а войти в комнату не смел. Несмотря на любовь к отцу, папа в конце концов переехал из отчего дома с товарищем в меблированные комнаты, чтобы иметь некоторую свободу. Но сам в пожилые годы стал вести себя по отношению к собственным детям очень похоже.

Любовь к сыну Лев Николаевич перенес и на внучек. Приходя к нам, он отдавал себя в полное наше распоряжение, мы буквально ездили на нем верхом. Баловник он был невозможный, исполнял все наши желания, слова «нет» мы от него не слышали. Являлся всегда нагруженный пакетами, подарками, конфетами, пирожными, причем все приносилось в тройном числе: три одинаковых куклы, пирожных — каждого сорта по три, чтобы не было обид. На протесты мамы он только разводил руками и говорил с полной убежденностью: «**Они же хотят**». Он не любил немцев и не был доволен, что сын женился на немке, хотя бы наполовину, отношения с мамой у него были холодноватые. Он считал себя русским, да и был таковым, а когда кто-нибудь ему говорил, что фамилия у него немецкая, он ужасно сердился и утверждал, что шведская. Когда меня отдали в немецкую школу⁷, он был очень недоволен и даже стал ко мне холоднее, а всю свою любовь перенес на младшую сестру, Тамару.

Последний год жизни он стал болеть и сильно сдал. Жил он тогда на Петроградской стороне, далеко от нас. Надежда Львовна, приехав, нашла его в плохом состоянии, прислуга делала, что хотела, тратила без счета его деньги, плохо за ним ухаживала, а папа был очень занят. Надежда Львовна взяла его к себе в Екатеринослав. Он уже плохо соображал, где он, в каком городе, но все время думал о сыне, ожидал, что он его встретит на улице, часто просил отменить какое-нибудь блюдо, так как «**Боря это не любит**», ждал от него писем. Но по-прежнему много гулял и ходил очень быстро, только уставал. Он умер в 1908 г. от воспаления легкого.

Бабушка Людмила Федоровна была очень нежной бабушкой, хотя мы были, естественно, у нее на втором плане по сравнению с осиротевшими Глаголевыми. Каждый ее приезд в Петербург был для нас праздником. Она хорошо шила, и мы всегда получали новые платья. Приезжала она всегда нагруженная подарками, ездила всегда с массой мелкого багажа, всякие баульчики, корзиночки, тючки, все это все время пересчитывалось и едва умещалось на извозчике. Она была маленькой, очень подвижной, для нее ничего не стоило в пожилом уже возрасте приехать из Одессы или Варшавы в Петербург. Вид у нее всегда был старушечий, и одевалась она по моде своей молодости, носила широкие юбки и просторные кофты, но всегда из очень дорогого материала, часто из тяжелого шелка, темных цветов, с красивыми жабо из кружев, — на голове такая же наколочка. В молодости она, вероятно, была хорошенькой, с темными живыми глазами и тонкими чертами лица, сын был похож на нее. Она была очень общительна, и в Петербурге у нее было много друзей, к которым она часто ездила и нас брала с собой. Квартира на Николаевской улице была скромной, скупо обставленной, уютно было только в бабушкиной спальне, где на стенах и диванах висели и лежали яркие украинские плахты. Нас она закармливала сладостями, приглашались и другие дети. Бабушка бойко играла на рояле модные тогда танцы: вальс, польку, мазурку, краковяк, венгерку, очень зажигательный га-

лоп, под ее музыку было хорошо танцевать, а она была неутомима. Бабушка дожила до 81 года и умерла в 1920 г. в Нижнем Новгороде, куда поехала со старшей внучкой, Олей Глаголевой, когда та окончила Педагогический институт и получила там место преподавательницы.

Другие папины родственники жили большей частью в провинции, и мы их мало знали. Розингов среди них почти не было. В Петербурге жил только дедушкин двоюродный брат, Иллиодор Иванович Розинг⁸, очень важный чиновник, сенатор и член Государственного Совета, портрет его можно видеть на известной картине Репина⁹. Когда Христя стала жить у дедушки, он купил ей перчатки, как она вспоминала, и повел с визитом к Иллиодору Ивановичу. Для провинциальной шестнадцатилетней девушки это было испытание: дом был поставлен на широкую ногу, за столом служил лакей в белых перчатках. Дедушка же был человек светский. Он дружил с «Дориком», как он называл кузена, и часто ходил к нему играть в шахматы.

У бабушки была сестра, Антонина Федоровна, замужем за своим двоюродным братом, Иваном Ивановичем Сергеевым. Они жили в Варшаве, почему мы ее звали «варшавская бабушка». Иван Иванович занимал в Варшаве довольно высокое положение — управляющего государственным имуществом. Иногда он приезжал в Петербург по делам и останавливался у нас. Он был очень маленького роста, но когда надевал мундир, ордена и ленту, казался очень представительным. Мама к нему очень благоволила и говорила, что он один из самых воспитанных людей. У них был сын Михаил, лесничий, и дочь Вера, очень болезненная женщина, которая развелась с мужем и жила у родителей с дочкой, Женей Добровольской.

Из старших сестер отца — Екатерина Львовна была от нас далека, кто ее помнил, вспоминал, что она была красива, с вьющимися волосами. Надежда Львовна была некрасива, очень похожа на дедушку, но очень приветливая, живая, энергичная. Она часто приезжала из Екатеринослава к нам, чтобы проведать своих многочисленных сыновей и дочерей, которые учились в разных высших учебных заведениях Петербурга, появлялись изредка у нас и потом опять надолго исчезали. Надежда Львовна раз приезжала, чтобы хлопотать за старшего сына Льва, который был замешан в студенческих волнениях, чтобы ему ссылку в Астраханскую губернию заменили высылкой за границу; хлопотали через Кони¹⁰, с которым дедушка был дружен. Надежда Львовна окончила Смольный институт [благородных девиц], потом училась на Высших курсах¹¹. Во время русско-турецкой войны ушла на фронт сестрой милосердия и там в военном госпитале познакомилась со своим будущим мужем, Иосифом Алексеевичем Алексеевым-Поповым, врачом-педиатром. Она была женщиной незаурядной, много занималась общественной работой.

Отец был очень дружен со своей сестрой Александрой Львовной, по отзывам знавших ее, она была очень привлекательна и добра.

В Петербурге жила семья брата Людмилы Федоровны, Александра Федоровича, и отец с детства дружил со своими двоюродными сестрами, Марией, Ниной и Верой Александровной¹² и братом Георгием Александровичем. Все они были прирожденными педагогами и работали в различных школах и гимназиях Петербурга. По воспоминаниям Веры Александровны можно судить, каким был отец в детстве и юности, — тихим, вдумчивым мальчиком, внешне похожим на девочку, блондин с карими глазами. Когда он в одном гимназическом спектакле играл роль Жанны Д'Арк, никто не хотел верить, что это мальчик. Вера Александровна была и самой близкой

подругой моей матери по Литейной гимназии¹³, через нее и произошло знакомство моего отца и матери. Вот что В[ера] А[лександровна] об этом пишет:

Все праздники, все каникулы мы всюю отдыхали. Больше всего любили отдыхать в деревне Долговке. На станции Мшинской нас дожидались розвальни, набитые сеном, на Рождество тогда были сильные морозы, надевали мы тулупы и валенки и размещались, кто куда и с кем хотел. Собиралось нас обыкновенно человек 12–15. Нам готовили две избы, одна для девочек, другая для мальчиков. Бегали мы в лесу на лыжах, катались на коньках, но больше всего любили кататься на больших саниах с крутого берега через реку. Вот раз днем, когда ярко сияло солнце, отчего искрился чистый снег, мы пошли кататься, а я все на лыжах норовила скатиться и каждый раз внизу падала, гора кончалась уступом. Вот мы собрались домой, замерзли. Борис решает прокатиться в последний раз, конечно, с Асей. Мы все их ждем. Возвращаются какими-то сконфуженными. Ася мне какие-то знаки делает. Я сразу догадалась, в чем дело. Видимо, Борис решил сделать предложение, но все что-то боялся или стеснялся, но в последнюю минуту заставил себя, стоя сзади и держа Асю, сказать ей, а может быть, и поцеловал ее. Вечером, когда мы разошлись по избам, затопили печи и сели у огонька, Ася мне все рассказала и поцеловала меня несколько раз.

Мама, по рассказам, была очаровательной девушкой, темноволосая, с темно-серыми глазами, темными бровями и необычайно нежным цветом лица. Один приятель отца, В. Либединский¹⁴, очень любил рассказывать, как он ехал на пароходе по одному из швейцарских озер и увидел среди пассажиров прелестную девушку, видимо, русскую, путешествовавшую с отцом. Познакомиться ему не удалось, но он долго ее вспоминал. И вот через некоторое время, уже в Петербурге, он получает приглашение на свадьбу своего друга, и под венцом он видит эту самую прелестную девушку. Это была наша мама!

Мама была старшей дочерью Вильгельма Вильгельмовича Кюнера, или, как его обычно называли в России, Василия Васильевича, и Марии Кузьминичны Березкиной. Семья Кюнеров-Березкиных была несколько другой, чем Розингов-Сергеевых (дворянско-чиновничьей, с корнями в русской провинции), а скорее артистической, интеллигентской, жившей и работавшей главным образом в Петербурге. Отец был связан тесными, дружескими узами со многими членами семьи жены, и сам пользовался их любовью и уважением. Отношения между этими семьями были скорее официальными, я даже не помню наших бабушек и дедушек вместе.

Главой семьи был дед мамы, Кузьма Иванович Березкин, проживший долгую, интересную жизнь. Год рождения его неизвестен, вероятно, 20-е годы XIX столетия, умер он в 1906 г. Происхождение его тоже неизвестно, так же как и национальность, о своем детстве он никогда не говорил, родителей своих не знал, шутя кому-то из сыновей сказал, что он Березкин, потому что его нашли под березкой. Говорили, что его ребенком привезли с юга, тип лица у него был южный. Он был очень красив до старости, сильный брюнет с классическими, правильными чертами лица, об этом можно судить по сохранившемуся бюсту работы Ек[атерины] Серг[еевны] Зарудной-Кавос¹⁵. Седым он не стал до старости и сохранил такие густые волосы, что, когда один из его сыновей после его смерти хотел их расчесать, гребень едва проходил. Сын его, Петр Кузьмич, любил рассказывать, что, когда его представили одной светской старушке, она ему сказала, закатив глаза: «Вы очень красивы, молодой человек, но каков был ваш батюшка!»

К[узьма] Ив[анович] воспитывался у какого-то придворного служащего, получил образование врача и затем служил придворным врачом у великого князя Николая Николаевича Ст[аршего]¹⁶, имел квартиру в Ксениинском дворце¹⁷, а летом переселился вместе с двором в имение Знаменку¹⁸. После выхода в отставку жил со старшей дочерью Александрой Кузьминичной на Васильевском острове в Волховском переулке, эту квартиру я хорошо помню. Зимой 1906 г. прожил у сына Николая Кузьмича в имении Мошняково Новгородской губернии, о чем сохранилось его письмо от 4 января дочери Марии Кузьминичне: «Дорогая моя Маня, спасибо за милое письмо и за сосиски, сегодня вечером будем их есть, а завтра будет борщ с ними. Я совершенно согласен с тобою, оставаться зимовать в Мошнякове, о том я сегодня написал и Саше». Кончается письмо теплыми словами зятю: «Как твое здоровье, мне о тебе никто не писал. Будь здоров, мой дорогой друг, обнимаю тебя со всею семьею, устал, больше писать не могу». Вероятно, это было его последнее письмо и последняя зима.

Великий князь часто брал Кузьму Ивановича с собой в поездки, хотя он и лечил только придворных служащих. Сохранился неизвестно чей карандашный рисунок: молодой Кузьма Иванович на лошади, с надписью: «Доктор Березкин объезжает окрестности Иерусалима»¹⁹. У Александры Кузьминичны в киоте хранился перламутровый образок и такой же крест, привезенные из этой поездки. Конечно, полное таинственности происхождение вызывало любопытство и разные толки, кое-что долетало и до моих детских ушей, но, вероятно, все было гораздо прозаичнее, чем бы хотелось.

Я его помню в последние годы его жизни, больше всего на даче у бабушки в Тюрселе. Он уже мало ходил, а больше сидел на балконе в большом плетеном кресле, всегда в опрятнейшем чесучевом костюме с белым галстуком. Он сильно кашлял и часто болел плевритом и воспалением легких и был предметом забот всей семьи. Дети его были к нему очень почтительны, звали его «папаша» и всегда обращались к нему на «вы». С нами, детьми, он был очень ласков. Сохранилась любительская фотография свадебной группы маминого брата Николая Васильевича, где в центре — Кузьма Иванович, а у его колена — я. Жена Кузьмы Ивановича умерла рано, я не знаю ее девичьей фамилии, как будто она была купеческого происхождения, довольно некрасивая, судя по фотографии; тетя Саша была так похожа на нее, что на фотографиях их трудно различить.

Старшей из детей была Александра Кузьминична, затем шла наша бабушка Мария Кузьминична и три сына: Дмитрий, Николай и Петр Кузьмичи.

Тетя Саша замужем не была, у нее был жених, но умер до свадьбы, она о нем никогда не упоминала, жила с отцом и преданно за ним ухаживала, а затем, после его смерти, посвятила свою жизнь бабушке и ее семье. Такую преданность, какую она проявила к своей сестре, братьям, племянникам, а затем внучатым племянникам, трудно себе представить. Бывало, возьмет твою голову в руки, поцелует в лоб и скажет: «Душечка моя!» Она окончила педагогические курсы, так же как и бабушка, и служила долгие годы классной дамой в Василеостровской женской гимназии²⁰, у нее в альбоме было много фотографических карточек окончивших с теплыми надписями. Она была очень образованна и обладала замечательной памятью: по всем вопросам истории, литературы, географии, ботаники могла служить живым справочником. После смерти отца она переехала к сестре, с которой была необычайно дружна. Сохранилась бабушкина фотография, подаренная, видимо, перед свадьбой, с надписью по-немецки: «От твоей неверной Мари» — бабушка считала свое замужество до

некоторой степени изменой сестре. Но с дедушкой Василием Васильевичем она стала очень близка, он писал ей сердечные письма и делился своими музыкальными планами.

Она была необычайно аккуратна, до педантичности, с утра уже тщательно одета в юбку и кофточку, по утрам еще непременно люстриновый²¹ передник, гладко причесана — волосок к волоску, сзади небольшая шишечка. Она была некрасива, с неправильными чертами лица, но до старости сохранила хорошую фигуру, очень прямо держалась и легко двигалась. Я хорошо помню ее комнату, где всегда был абсолютный порядок, ничто не валялось, ничто не сдвигалось с места, нигде ни пылинки, пыль она всегда вытирала сама. Я всегда спала у нее, когда гостила у бабушки, и спала на маленьком диванчике в передней части комнаты, за ширмой была кровать тети Саши и умывальник. У окна стоял большой прадедушкин письменный стол, покрытый красным сукном, на нем дорожные, или, как их называли, «каретные», часы с мелодичным боем, между окнами — зеркало, в углу — киот с образами и лампадкой — создавалось удивительное настроение порядка и покоя.

День у тети Саши был строго распределен по часам: когда она читала, когда вязала или вышивала, когда убирала комнату, когда шла гулять. Она великолепно вышивала крестиком по канве красными и синими нитками сложнейшие узоры в русском духе на полотенцах и салфетках, а также вязала крючком тончайшие кружева из кроше²² или салфеточки на сухарницы. Специальностью ее также были вязаные одеяла из гаруса²³, из полос в два цвета, очень теплые, этими предметами она снабжала всю родню. И сейчас в квартире-музее И. П. Павлова, в спальне на кроватях Ивана Петровича и Сарры Васильевны²⁴, лежат такие одеяла, несомненно работы тети Саши. Еще ее обязанностью было учить грамоте, а затем готовить в гимназию все младшее поколение. И мама, и ее братья и сестра прошли через ее руки, не миновала этого и я. Хозяйством она не интересовалась, предоставляя это бабушке. Единственной ее хозяйственной обязанностью в доме было заправление салата. За четверть часа до обеда приходила горничная и просила: **«Барышня, заправьте салат»**. Тетя Саша отправлялась в столовую, где на обеденном столе было уже все приготовлено: салат, соль, горчица, сахар, уксус, прованское масло, и тетя начинала колдовать. Почему-то считалось, что никто другой так это сделать не может. Еще она прекрасно ухаживала за больными, при всех заболеваниях братьев посылали за ней, и она переселялась к больному на столько времени, сколько было нужно. Никто как она не умел так хорошо растереть грудь и спину, так ловко поставить компресс или горчичник, приготовить питье.

Она была очень религиозна, истово православная, регулярно ходила в церковь и соблюдала все посты и обряды; ее излюбленной церковью была церковь на Стремянной²⁵.

Конечно, у нее были слабости и смешные стороны, некоторая узость взглядов. Она была убежденной монархисткой, обожала царскую семью, особенно государя, называла его совсем по-институтски «наш ангел», была далека от действительности. Страшно сердилась на своих братьев и племянников за вольные речи, которые часто произносились за столом, отодвигала с шумом свой стул и выходила со словами: **«Не уважающий своего государя не уважает сам себя!»** Она страстно любила музыку Чайковского, этим ее так же любили изводить, начинали петь самые обыкновенные вещи, вроде: **«Маша, налей мне чаю»** на мотив «Евгения Онегина», а в глазах тети это была профанация. Еще обожала Собинова²⁶ и не пропускала ни одного его концерта или оперы с его участием. Но все ее любили за ее доброту и самоотверженность.

Бабушка и тетя Саша в воспоминаниях совершенно неотделимы друг от друга, такие похожие и такие разные. Общее — это то, что англичане называют ladies, в лучшем смысле этого слова, простые, всем доступные, благожелательные, сдержанные в проявлении чувств, исполненные особой нравственной чистоты. Помню их на их ежедневных прогулках на даче, всегда в одно и то же время после дневного кофе. Два похожих силуэта, высокие, тонкие, прямые, под зонтиками от солнца, в черных юбках и белых блузках, в туфлях на низких каблучках. Они следовали своими излюбленными маршрутами, наслаждаясь природой, оживленно беседуя между собой. У них всегда было о чем поговорить — о домашних делах, о планах на ближайшее время, они всегда обо всем советовались друг с другом, а главным образом о книгах, которых читали очень много и по-русски, и по-немецки, и по-французски; из французских писателей они особенно любили Бальзака. Иногда они спорили, но никогда нельзя было услышать дамскую болтовню о туалетах, о знакомых, сплетни для них не существовали. Они никогда никого не осуждали, необыкновенно терпимо относились ко всему выходившему за рамки общепринятой морали, а это и в их собственной семье имело место.

И все же они были разные, прежде всего внешне, где преимущество было на бабушкиной стороне; насколько тетя Саша была некрасива, настолько красива была бабушка, немного суровой красотой, с большими темными глазами, с великолепными темными же волосами, заплетенными в косу и уложенными в большой узел на затылке. Одевалась она строго и скромно, носила английские блузки с крахмальными воротничками и полумужскими галстуками, а у тети Саши могла появиться какая-нибудь неожиданная рюшка или бантик.

По своим взглядам бабушка была либеральнее тети Саши, в церковь не ходила, в политике придерживалась умеренно-левых взглядов, читала *«Речь»*²⁷, тогда как тетя Саша получала *«Новое время»*²⁸. Тетя Саша была более ласковая, более экспансивная, бабушка — более сдержанная, но в ее любви никто не сомневался.

Бабушка вела необыкновенно активную жизнь, с утра до позднего вечера она была на ногах, хотя всегда была прислуга, дела всем хватало при большой семье и довольно ограниченных средствах. По утрам всюду сама вытирала пыль, ходила за покупками, вечером опять второй раз — за булками к чаю. Много шила, стол в ее комнате всегда был завален шитьем, она сама шила дочерям все блузки и белье, мужу и мальчикам все чинила, ее старенькая швейная машина всегда жужжала. В отличие от тети Саши она занималась только практически необходимым шитьем. Да еще приходила к нам, на помощь маме. Когда мы собирались на дачу, укладывала вещи, осенью ее обязанностью почему-то было вешать портьеры на окна и двери. Читать она успевала только на ночь. Бабушка всегда боялась всякого излишества, за обедом ела только суп, а на второе картофель с подливкой, уверяла, что все остальное ей вредно. Позволяла себе только кофе, который сама жарила и молола и заваривала тут же на столе в очень сложном кофейнике на спиртовке. У нее всегда была склонность к аскетизму, и она и тетя Саша ели с маслом только черный хлеб, а белый и так хорош, и это, конечно, не из экономии, а «у других и этого нет». Когда-то бабушка пела, любила оперу, концерты, не пропускала ни одного выступления итальянского певца Мадзини²⁹, которого особенно любила, потом от всего этого отказалась. Собирались у нее обычно по воскресеньям вечером братья, дети с мужьями и женами. Были всегда интересные разговоры, часто очень веселые, бабушкины братья и сыновья были очень остроумны и остры на язык, я никогда не скучала в их

взрослом обществе и сидела, впитывая в себя все, что говорилось. По табельным дням устраивались семейные обеды на Пасху, Рождество. Еда была вкусная, обед всегда традиционный. У бабушки с семнадцати лет жила толстуха Дуня, сперва горничной, потом стала первоклассной кухаркой, и мы обедались Дуниными жареными пирожками, от которых нельзя было отстать. Вино никогда не подавалось, закуски тоже.

Бабушка рано стала плохо слышать, приходилось в разговоре с ней сильно повышать голос. Из-за этого она, вероятно, избегала бывать на людях, в концертах, и часто у нее был отрешенный вид, какое-то погружение в собственный мир.

Бабушка рано вышла замуж, в семнадцать лет, в 1874 г., за Вильгельма Вильгельмовича Кюнера, немца по национальности, музыканта, скрипача, пианиста и композитора, впоследствии — педагога. Биография его довольно сложна, но сохранилась им самим составленная подробная автобиография, написанная к пятидесятилетию его педагогической и артистической деятельности, которое отмечалось в Петербурге в апреле 1909 г.

Он происходил из семьи профессиональных музыкантов — капельмейстеров. Вильгельм Вильгельмович родился 1/13 апреля 1840 г. в г. Штутгарте (Вюртемберг). Его отец, Вильгельм Иоганн, был популярным в Штутгарте композитором и дирижером, он был первым учителем сына, которого с пяти лет стал обучать игре на скрипке и на рояле. В 14 лет Вильгельм Вильгельмович окончил 9 классов реального училища и после конфирмации всецело посвятил себя музыке. Композицией он стал заниматься очень рано и мог слышать свои первые опыты в исполнении оркестра под управлением отца, сам же играл в оркестре первую скрипку. С 1854 г. занимался теорией с учеником Мендельсона³⁰ профессором Файстом, игре же на фортепиано он учился у известного тогда профессора Леви, а на скрипке — у Дебуисера. 10-летним мальчиком он первый раз выступил публично, исполнив фортепианный концерт Мошелеса³¹ и вариации для скрипки Берлио³². В 1854 г. он получил место капельмейстера при легком театре в Берге около Штутгарта, где давались оперетки. Здесь он написал несколько вещей, которые были публикой встречены с одобрением. 1856–1857 годы он провел в Ульме на Дунае, где его отец дирижировал оперой, а он играл в оркестре первую скрипку, а также репетировал с оркестром и был помощником отца. В апреле 1857 г. была основана консерватория в Штутгарте, и Вильгельм Вильгельмович поступил в консерваторию учеником, помощником преподавателя и как первая скрипка в консерваторском ансамбле, а также продолжал брать уроки у Файста. Инструментовке он учился у профессора Л. Штарка, продолжал учиться игре на скрипке у Шнейделя и Зигмунда Лаберта. В 1859 г. он окончил курс консерватории с отличием и был рекомендован директором консерватории как преподаватель музыки и дирижер оркестра в гимназию д-ра Голландера в Биркенау около Вендена (Лифляндия)³³. Таким образом, он впервые приехал в Россию и пробыл в Биркенау до мая 1861 г., когда поехал на 9 месяцев в Париж, чтобы заниматься игрой на скрипке у известного профессора Массара³⁴. В 1862 г. принц Петр Георгиевич Ольденбургский (1812–1881)³⁵ пригласил его в Петербург для руководства музыкальной частью в основанном им приюте. В то же время он занимался фортепианной игрой под руководством Адольфа Гензельта³⁶. В 1865 г. он получил место преподавателя в С.-Петербургском Николаевском женском институте³⁷, где проработал до 1867 г. Затем уехал в Тифлис, где давал концерты, исполняя свои оркестровые сочинения. В 1868 г. великая княгиня Ольга Федоровна, супруга великого князя Михаила Николаевича, тогдашнего наместника Кавказа³⁸, при-

гласила его преподавать музыку ее детям. В 1870 г. вместе со своими друзьями Реммертом и Л. Н. Модзалевским основал Кавказское музыкальное общество и музыкальную школу, которую возглавлял до 1876 г. В 1874 г. он женился на бабушке, и мама родилась в 1875 г. в Боржоме. Потом некоторое время они, видимо, жили в Германии, а с 1878 г. обосновались окончательно в Петербурге.

Всегдашний его покровитель принц Ольденбургский пригласил его в качестве музыкального инспектора в Сиротский Николаевский институт в Гатчине³⁹, в это же время вел. кн. Екатерина Михайловна⁴⁰ пригласила Вильгельма Вильгельмовича преподавать музыку ей и ее сыновьям герцогам Георгию и Михаилу Георгиевичам Мекленбург-Штрелицким, а также назначила его инспектором музыки в Мариинский женский институт⁴¹. Одновременно он был музыкальным руководителем в Александровском лицее⁴², также руководил преподаванием музыки в Императорском коммерческом училище⁴³. Все это время он работал над различными музыкальными сочинениями для оркестра, фортепиано, скрипки, виолончели, для хорового и сольного пения. Большинство его произведений осталось в рукописях, он был очень строг к себе и очень мало что давал в печать. Единственная его опера *«Тарас Бульба»* шла некоторое время в Мариинском театре под управлением его друга Направника⁴⁴, многие вещи исполнялись в концертах. В 1892 г. он вместе с известной общественной деятельницей М. А. Лохвицкой-Скалон основал музыкальное училище⁴⁵.

Первое время после окончательного переезда в Петербург Вильгельм Вильгельмович и Мария Кузьминична жили где-то на Литейном, а затем, когда семья стала увеличиваться, переехали на Гончарную улицу, д. 15. Эту квартиру называли резиновой, она в разных комбинациях вмещала всю большую семью: родителей, пятерых детей, потом еще тетю Сашу. Одни женились и выходили замуж, устраивались самостоятельно, другие подрастали и из спальни родителей переходили в освободившуюся комнату, затем кто-то разводился и опять въезжал. Дом был старый, запущенный, весь в трещинах, ему пророчили, что он рухнет, что и произошло действительно в 1918 г., но тогда там уже никого не было. Но квартира была обжитая и по-своему уютная, никто не хотел с ней расставаться. Из большой передней справа была дверь в маленькую комнату окнами во двор, сперва — мамину, до ее замужества, затем — тети Лизы, потом дверь в дедушкин кабинет, слева дверь в узкую комнату мальчиков, впоследствии бабушкину спальню, и в большую гостиную в три окна на улицу, где стояло два рояля. Из гостиной — вход в бывшую спальню, затем комнату тети Саши, прямо из передней — вход в большую столовую. Между спальней и кухней было большое проходное темное помещение с фрамугой в столовую, за занавеской там спали слуги, а в проходной части были умывальник и громадная ванна, которая нагревалась из котла, вмazanного в плиту в кухне, греть воду было трудно, и в ванной мыли только детей, а взрослые предпочитали ходить в баню. Тетя Лиза после своего двухлетнего пребывания в Англии панически боялась возможного приезда в Россию своих английских друзей, как она будет им обеспечивать ежедневную традиционную английскую ванну. Надо еще добавить, что хозяин дома был полусумасшедший старик, который боялся электричества и не позволял проводить его в доме, так что каждый вечер во всех комнатах заправлялись керосиновые лампы, как на даче, что имело как свои неудобства, так и свою прелесть. Телефоны тоже были запрещены, что очень затрудняло общение между нами и бабушкой, когда надо было что-нибудь спешно передать, посылали нас, детей. Зачем жили в такой неудобной квартире — непонятно, когда ничего не стоило снять другую с большим комфортом, но все в ней выросли и привыкли как к родному гнезду.

Дедушка мне внушал большое почтение, пожалуй, даже робость, он казался существом совсем особенным. Он был старше бабушки лет на 16, а на вид разница казалась еще больше, был очень худ, слегка сутулился, с большими выпуклыми голубыми глазами, очень близорукими, всегда в очках. Утром, если бывал дома, писал музыку, стоя за высокой конторкой у себя в кабинете и всегда гусиным пером, очень мелко. У него и почерк был совершенно бисерный, сохранились его записные книжки вроде дневников, но их прочесть чрезвычайно трудно. На конторке во время работы всегда лежала сигара с длинным пеплом. Приходя из школы, — а я часто жила у них весной и осенью, когда мама была с младшими сестрами уже или еще на даче — я всегда знала по аромату сигары, дома дедушка или нет. Днем приходило много частных учеников, играли очень хорошо, так как дедушка занимался только с очень подвинутыми, нуждающихся, но способных он учил всегда безвозмездно. Одна его ученица, Евгения Яковлевна Зелянд, дочь его друга, была так ему благодарна и так его любила, что взяла на себя тяжкий труд обучать все его потомство, сперва детей, а потом перешла на внуков, проявляя при этом ангельское терпение, пианистов все же ни из кого не вышло. Я ужасно боялась играть при дедушке, помню, как один раз разревелась, когда он захотел меня послушать, а я все со страху перезабыла. Он бросился меня утешать и был расстроен не меньше меня. Я была его любимицей, как старшая внучка. Звал он меня Лидушей, а не Лидочкой, говорил, что окончание «чка» режет уши. Приходилось все же упражняться перед уроками, хорошо, что еще нас отделяло большое пространство, но все же часто раздавался раздраженный крик из кабинета: «**Что ты играешь? Фа диз, фа диз!**» И как он это только знает за две комнаты и без нот, мне казалось чудом. Вечерами он часто играл на рояле, обычно фантазировал, прося бабушку дать ему темы. Выше всего он ставил Баха. Публично на моей памяти он уже не выступал, сердце ему не позволяло, его скрипичную игру я слышала, кажется, только один раз. Скрипка у него была Гварнери⁴⁶. Он был слабого здоровья, главное, его мучили нервы.

К России он привык, она стала его второй родиной. Он хорошо говорил по-русски, с легким акцентом, но абсолютно правильно, с учениками предпочитал говорить по-французски. За границей он охотно пропагандировал русскую музыку. Сохранилось его письмо из курорта Гаштейн от 26/9 июля 1907 г., написанное свояченице, где он пишет, что знакомил тамошнюю публику со своей композицией для женского голоса и хора на текст Крылова, «нашего Лафонтена», — «*Осел и соловей*», со своей балладой «*Славное море, священный Байкал*», написанной им для Шаляпина. Он сам сделал перевод на немецкий язык текста басни.

Плохая погода, которая здесь установилась [писал он], привлекает много публики в музыкальный зал, и я едва спасаюсь от аплодисментов, которыми меня особенно награждают за исполнение моей фантазии на тему из 6-ой симфонии Чайковского, которую меня снова и снова заставляют играть. Несмотря на отвратительный рояль, я все еще покоряю публику, *Ich zwinge mir noch das Publikum*, меня хотят услышать в сольном концерте, от чего я отказываюсь, так как слишком дорожу моим лечением.

Он был очень дружен со всей семьей бабушки, особенно с Кузьмой Ивановичем, который в письмах называет его «дорогой друг» и сетует, что он, верно, разлюбил его, так как ничего ему не пишет.

К чему он не мог привыкнуть — это к климату и к русской еде. Ему все готовилось отдельно, все очень легкое. Бабушка ему сама скоблила ножом мясо на котлету, пропустить через мясорубку — об этом не могло быть и речи. Он с ужасом смотрел, как его сыновья на масленице поглощают по несколько десятков блинов, говорил, что он и от одного бы умер. Каждое лето он уезжал лечиться за границу, в Германию или Швейцарию, и по очереди брал с собой детей, но кроме мамы никто этого не любил.

Работал он чрезвычайно много, иногда уходил с утра до позднего обеда, выполняя свои многочисленные педагогические обязанности. В календаре за 1895 г. имеются его ежедневные записи такого рода:

14 мая. В час публичный экзамен в муз[ыкальной] школе до пол[овины] 6-го. Очень удачен.
17 мая. Был на экзамене в С.-П[етербургской] муз[ыкальной] школе у Боровка. Очень неважно!
18 мая. Был на экзамене в институте. Лучше, чем я ожидал. 19 мая. Экзамен в С.-П[етербургской] муз[ыкальной] школе у К. Я. Лютш. Прекрасно играл окончивший курс молодой Лютш. 20 мая. Акт в Мариинском институте. Там пели мою кантату. 23 мая. У Бергер, с ним последние переговоры насчет Suite pour violoncelle⁴⁷ у Иогансен⁴⁸, сдал ему «Снежинки» № 3 pour violon[celle] et F[orte] Piano⁴⁹ и элегию для виолончели и фортепиано. О плате со стороны И[огансена] ни гу-гу.

В 1909 г. 23 апреля отмечали пятидесятилетний юбилей его артистической деятельности и педагогики в России (с 23 апреля 1859 г.). На Гончарной был днем устроен прием, на котором была масса народу, одни приходили, другие уходили, ученики, артисты, друзья. Были делегации от музыкальных школ, от института, от лицей, играли, пели. Квартира утопала в цветах. В столовой был сервирован чай, кофе, шоколад, во главе стола сидела бабушка в светло-сером шелковом платье, она была очень оживлена, глаза у нее блестели, щеки зарумянились, и я, сидя около нее, думала, какая она красивая. Вечером мы все были на концерте в Мариинском институте, где дедушку особенно любили. Приехавшие артисты, преподавательницы и старшие воспитанницы исполняли дедушкины произведения. Выступала и наша Евгения Яковлевна, которую дедушка устроил преподавательницей в институт.

Были еще дедушкин племянник с женой (сын его единственной сестры Розы) Вилли и Ребекка, для меня почти мифические, но о которых всегда были разговоры. Они были немецкие социал-демократы, которые выслались то ли из Германии в Россию, то ли из России в Германию и о которых дедушка хлопотал.

Летом бабушка выезжала в свой любимый Тюрсель, маленький курортик в Эстонии за Нарвой на станции Вайвара. Когда она там по чьему-то совету сняла дачу, то первое лето плакала от неудобства и одиночества. Дача стояла на самом берегу неприветливого моря, вечный ветер, частые дожди, дача вся в щелях, продувалась. А прожила там 25 лет, так ей полюбился этот живописный уголок. Так же подолгу жили там и другие петербургские дачники, профессора, художники. Там жили И. П. Павлов, В. И. Палладин⁵⁰, Зернов⁵¹, Миткевич⁵², А. С. Догель⁵³, художники Берггольц⁵⁴, Дубовский⁵⁵ и др. Сам Тюрсель представлял собой узкую полосу земли между морем и речкой, которая текла параллельно пляжу и затем впадала в море. На этой косе и стояли дачи, некоторые были соединены мостиками с сушей, где было уже другое имение — Силламяги барона Штакельберга, тоже с дачами в большом лесопарке, называвшемся почему-то «Италия». Место было очень живописное, с хорошими прогулками вдоль моря и вглубь, рядом с Тюрселем была рыбацья

деревушка с развешенными сетями, где коптили салаку тут же на берегу. Здесь и выросли все бабушкины дети вместе с большой компанией сверстников. Вся эта сперва детская, потом молодежная компания хорошо проводила время — купались, ходили под парусами, играли в теннис, вечерами танцевали в маленьком курзале⁵⁶, флиртовали. Потом переженились. Тетя Лиза сперва вышла замуж за старшего сына (Владимира Ивановича) И.П. Павлова, потом за Валентина Александровича Догеля⁵⁷. Дядя Коля женился на дочери Николая Ивановича Рыжова, обитателя соседней дачи, Елене Николаевне, дядя Боря — на Елене Павловне Прохоровой, жившей в Силламягах.

Дедушка, кажется, ни одного лета не провел в **Тюрселе**, для него климат был слишком суров.

Дедушка умер 8 июля старого стиля 1911 г. в санатории под Ригой. Скончался он скоропостижно от сердечного приступа за письмом к бабушке, и последние слова, которые он написал, были: «холодно, холодно...». Погода была ненастная и холодная.

После смерти дедушки бабушка скоро перестала летом выезжать в Тюрсель. Она стала получать небольшую пенсию, кое-что, вероятно, удалось отложить на черный день, так как она осталась в той же квартире, по-прежнему у нее все собирались по воскресеньям, а летом она и тетя Саша стали жить с нами на даче в Новгородской губернии. Так они дожили до революции. В 1918 г. умерла тетя Саша от сыпного тифа, подхватила его, вероятно, в бане. Бабушке пришлось ее отправить в больницу, чтобы уберечь от заразы других. Так бедная тетя Саша и умерла одна. Бабушка себя за это казнила до конца жизни, и когда ей самой стало плохо, она говорила: «**Это мне за то, что я так бесчеловечно бросила Сашу**».

В 1918 г. она переехала к тете Лизе, вышедшей замуж за Валентина Александровича Догеля. Тетя окружила ее заботами, всячески старалась продлить ей жизнь, но с ней вдруг что-то случилось, она преждевременно состарилась, сторбилась, ноги перестали совсем подниматься, и она едва передвигалась с помощью палки. То ли это была подагра, которая ее всегда донимала, то ли последствия ушиба, когда ее сбил мотоцикл. Лицо осталось прежним, но только было всегда печальным. Ее состояние очень ее удручало: «**Дух бодр, а плоть немощна**» — говорила она. Как-то посмотрела на себя в зеркало и сказала: «**Наина, где твоя краса**». Она старалась быть полезной, смотрела за маленькой Ликой, чинила, шила. Тетя выбивалась из сил, чтобы ее поддержать, заставить есть, требовала от дяди Пети лекарств, на что он отвечал: «**От старости нет лекарств**». Она скончалась в августе 1924 г., тихо заснула на своей постели. Тетя несколько раз входила к ней и думала, что она дремлет.

Из братьев бабушки и тети Саши я совсем не помню Дмитрия Кузьмича, он жил в Тифлисе и рано умер. Зато его жену, Эмму Юльевну, я помню хорошо, она часто приезжала в Петербург к бабушке и тете Саше, с которыми была дружна. Ее первый муж не дал ей развода, поэтому ее дети от Дмитрия Кузьмича, Петя и Митя, не носили его фамилию, а были Красовские. Эмма Юльевна производила впечатление очень энергичной женщины, сама воспитала сыновей, у нее еще был сын от первого брака. Женственного у нее было мало, она стриглась по-мужски, громко говорила, по тогдашним временам отличалась своей внешностью. Каждую осень она посылала в Петербург посылки со всякой кавказской экзотикой, с виноградом в опилках, как тогда его было принято транспортировать и которые очень трудно было удалять, любимые нами чурчхелы, виноградные колбаски с грецкими орехами, нанизанные на нитку, толстые — сладкие и тонкие — кислые. Еще белые войлочные шляпы,

которые нас летом заставляли носить и которые мы ненавидели. Раз я получила хорошенькую белую бурку и кавказские туфли, чусты, такие твердые, что я сразу натерла себе ноги и надолго их запомнила. Петя учился в Петербурге в каком-то техническом высшем учебном заведении и был серьезный, молчаливый юноша. Митя был немного старше меня и иногда гостил в Тюрселе. Эмму Юльевну я еще раз видела в 30-х годах, когда была проездом в Тифлисе и по поручению мамы связалась с ней по телефону. Свидание было уже на вокзале, короткое, но очень сердечное. Она жила с Петей, который служил инженером. Потом потеряли друг друга.

С Николаем Кузьмичом мы были связаны очень близко, и он — неотъемлемое лицо моих детских и юношеских воспоминаний. Это была настолько яркая и своеобразная фигура, что забыть его невозможно. Он был единственным военным в семье, командиром Егерского полка, но по болезни рано ушел в отставку, в чине генерал-майора. Он был очень высокого роста, с громким голосом, с умным, энергичным лицом, с пронзительными глазами, видевшими тебя насквозь. Человек он был большой силы воли, безнадежно больной туберкулезом; туберкулез легких перешел на ребра, которые у него с левой стороны были частично удалены. Как-то раз я видела, как у него под рубашкой совсем открыто билось сердце, он всегда держал руку так, чтобы его защитить, и нам, детям, было строго внушено к нему никогда с левой стороны не подходить. Он регулярно ездил в Швейцарию к знаменитому хирургу Ру⁵⁸, который ему постепенно удалял ребра, от взрослых я слышала, что он поражал в клинике всех своей выдержкой, шутил и смеялся на операционном столе, а общий наркоз ему был противопоказан из-за сердца. Тяжело больной, он не терял жизнелюбности и никогда не жаловался на плохое самочувствие. Широко образованный, он был интересным собеседником, замечательным рассказчиком, остроумным, наблюдательным. Он был и прекрасным воспитателем, но об этом дальше.

Жизнь у него была довольно бурная. Первым браком он был женат на Зинаиде Дмитриевне Стасовой⁵⁹, внучке архитектора и племяннице критика, а также сестре Елены Дмитриевны Стасовой⁶⁰. Она умерла до моего рождения, всегда ее часто вспоминали, у бабушки висел ее большой портрет маслом. Уже взрослой я узнала, что она покончила с собой, отравилась, чтобы не мешать дяде жениться на Инне Цезаровне Лансевич, дочери академика архитектуры Кавоса⁶¹. На моей памяти дядя был уже женат на Инне Цезаровне, маленькой брюнетке итальянского типа, смуглой, немного косившей, с ослепительными зубами, очень живой и приветливой. От первого брака у нее было четверо детей, два сына и две дочери, Мария и Инна, все они жили у дяди. Общие дети были Нина и Андрей, ровесники Тамары и Тани. С ними вместе мы прожили четыре года в имении Мошняково Новгородской губернии, которое дядя купил на средства Инны Цезаровны, вероятно, из-за своего здоровья, чтобы жить большую часть года на воздухе. Он увлекся сельским хозяйством, привел имение в образцовый порядок, отвоевывая от леса и болот пашни и луга, работал, как полагается, от зари до зари, так же как и Инна Цезаровна, она — на огороде и в молочной, часами крутила ручку сепаратора, выращивала замечательные овощи и ягоды.

Затем все неожиданно кончилось. Инна Цезаровна уехала с младшими детьми за границу, а дядя поселился со старшей падчерицей Мусей в маленькой квартирке у Царскосельского вокзала с маленькой девочкой Татой, которая появилась в Мошнякове последним летом. Нам взрослые ничего не объясняли, Тата считалась Мусиной приемной дочерью. Дружба дяди и Муси была для нас привычной, в Мошнякове

Муся была постоянной тенью дяди, вместе они строили дом на месте сгоревшего старого, она училась на архитектурном факультете Женских политехнических курсов и окончила их в 1916 г. Вместе они целые дни проводили в поле. Стоило дяде крикнуть: «**Муська, пошли**», как Муся тут как тут, в белом платье, под зонтиком, она не выносила солнца. В общем, бабушкина семья приняла Мусю, видимо, ее безграничная преданность дяде всех подкупила, особенно хорошо относилась к ней мама. Теперь уже Тату летом забирали к нам на дачу. Дяде становилось все хуже, он уже почти не выходил из дома. В 1918 г. он умер уже без нас. После Муся продолжала изредка бывать у нас, потом Тата вышла замуж, во время войны мы их окончательно потеряли.

С Ниной я встретила в 1922 г. во II Политехническом институте⁶², где она училась на химическом факультете. Я ее сразу узнала, хотя в последний раз видела, когда ей было 10 лет, такая же хорошенькая, с глазами, как вишни. Наша общая француженка⁶³ всегда ею восхищалась. Мы очень обрадовались друг другу и опять подружились, как в детстве. Затем она вышла замуж и уехала в Свердловск, раза два приезжала уже с ребенком, а потом потерялась. В один из ее приездов у нас с мамой было свидание с Инной Цезаровной у одних общих знакомых, Инна Цезаровна была уже совсем старушкой и жила с Ниной и Адей в Свердловске. Должна была прийти Муся, но почему-то не пришла. Из Свердловска приезжал к нам один раз и Адя, уже взрослый, в нем трудно было узнать того маленького мальчика, которого в детстве называли «одуванчик» за легкие, как пух, волосы. Так жизнь нас и развела.

Если дядя Коля покорял всех своей мужественностью, силой своей воли, то не менее замечательным человеком был младший, Петр Кузьмич, может быть, самый обаятельный человек, которого я знала, и оставался таким до старости. Помню, после вечера у Березкиных, когда праздновали его шестидесятилетие, мы с сестрой по дороге домой только и говорили, что дядя Петя лучше всех молодых людей. Какая стройная фигура, какая грация в движениях, какая улыбка, манеры, необыкновенный голос, какая эlegantность! Он был типичный чаровник, многие буквально боготворили его, и мужчины, и женщины. Он внешне был похож на отца, но мягче, сероглазый шатен. Блестящий собеседник, остроумный, легкий в разговоре, очень разносторонне образованный, могущий обо всем говорить со знанием дела, тонко обо всем судить, при этом необыкновенная светскость, тактичность, умение держать себя в любом обществе и в любой обстановке. Обаяние еще придавало ему и большое музыкальное дарование, он был прекрасным пианистом и тонким композитором. Но профессионального музыканта из него не вышло, и, как он сам говорил, виноват был дедушка Василий Васильевич, который считал его очень одаренным, одним из лучших своих учеников, и хотел сделать из него виртуоза, исполнителя, и проглядел его композиторские данные, а может быть, считал несвоевременным приобщать его к теории, оставляя это на потом. А дяде учить до бесконечности пьесы было скучно, хотелось сочинять, он бросил музыку и стал врачом, окончив Военно-медицинскую академию, врачом тоже прекрасным, талантливым диагностом, которому больные верили, как Богу. А на досуге играл, писал музыку, изучил теорию уже пожилым человеком, но свежесть мысли была уже не та, как он жаловался.

Женат он был на Прасковье Петровне Парфентьевой, хорошенькой женщине и бывшей балерине, которую дядя похитил из балета, об этом она не жалела, она была слишком ленива, как сама говорила. Но впоследствии ее балетное прошлое ей очень

пригодилось. На старых фотографиях в балетных пачках она была очаровательна, настоящая Сильфида; когда я ее узнала, она очень растолстела, от былого остались прелестные глаза и улыбка. Бабушка и тетя Саша считали ее легкомысленной и немного презрительно называли «Параскова». Конечно, у нее не было их интеллектуальных качеств, но она была очень благожелательна, с очень легким характером, очень расположенная ко всем. Жизнь до революции она вела светскую, дом свой сумела поставить на широкую ногу, с большим вкусом обставила квартиру, сама была очень элегантна. Она была незаконной дочерью одного важного лица, забыла кого, почему он не женился на ее матери — не знаю, она была из хорошей дворянской семьи, рано умерла, и Прасковью Петровну воспитала тетка, богатая женщина. Для Прасковьи Петровны, незаконной и хорошенькой, был один путь — в балет. Дядя познакомился с ней на блинах, и судьба ее была решена, как она рассказывала. Первые годы были счастливы, появилось двое детей, Паня и Александр, или Аля. Но дальше жизнь пошла врозь. Дядя Петя, как и брат, пользовался громадным успехом у женщин; в конце концов сошелся с одной богатой и знатной дамой, Мятлевой, связь эта продолжалась много лет и приняла почти узаконенный характер, кончилась только с революцией, когда Мятлева уехала за границу, а дядя остался. Мятлева ввела дядю в высший свет, где он вскоре стал своим человеком. Появились великосветские пациенты, которые скоро сделались близкими друзьями. Среди них были самые громкие имена — [князья] Лейхтенбергские, Кочубей, Голицыны, Белосельские — всех их можно было встретить в салоне Прасковьи Петровны. Дядя получил звание лейб-медика. В одном из писем бабушки я как-то прочла: **«Сегодня Петя завтракал у княгини Кочубей, но чувствовал себя неважно, спросил пару яиц и кусок эстонской ветчины, это в таком-то роскошном доме!»** Завел себе элегантную карету, в которой делал визиты. Прасковья Петровна в долгу не осталась и тоже развлекалась, как могла. Она знала всех в дореволюционном светском Петербурге, после, когда ее блестящая светская жизнь кончилась, мы ее часто спрашивали о том или другом лице. Так, во время финской войны: **«Прасковья Петровна, вы знали Маннергейма?»**⁶⁴ — **«Ну, как же, кавалергард, прелестный человек!»** Помню, как меня родители взяли раз на вечер к дяде Пете, мне было лет четырнадцать, было блестящее общество, музицировали, играл дядя, играла какая-то скрипачка-иностранка, я сидела в уголку, скучала и страдала от ненавистного розового платья, завидовала туалету Пани и роскошному виду ее подруги, Вавочки Тупиковой⁶⁵, как говорили, одной из самых богатых невест Петрограда. Она вся была усыпана бриллиантами, даже в волосах была ривьера⁶⁶. Какие-то дамы возмущались: **«В семнадцать лет такие бриллианты! Неприлично»**. Никто на меня не обращал внимания. Потом пригласили в столовую, где был сервирован стол à la fourchette, весь уставленный самыми соблазнительными вещами. Я от застенчивости, конечно, не решалась подойти к столу и положить себе что-нибудь, видела, как папа ухаживал за какой-то дамой, у мамы тоже был кавалер, а меня забыли, даже добрейшая Прасковья Петровна. Запомнила я этот фуршет, когда голодная приехала домой! Но это просто был несчастный случай, нас часто звали к дяде завтракать или обедать, и мы голодными не оставались. Надо было только все время быть начеку, чтобы не сделать какой-нибудь ляпсус, у Прасковьи Петровны все было по последней моде. Когда стало принято полоскать рот после еды и горничная обнесла всех стаканчиками в чашках из синего стекла, мама вовремя успела мне шепнуть: **«Не пей, не пей!»**. Из всего сказанного можно сделать ошибочный вывод, что дядя был только светский врач и зарабатывал большие деньги. Совсем нет, его

приемная всегда была полна совсем простыми людьми, которых ему присылали родственники и друзья, — студентами, служащими, прислугой. Он всех принимал бесплатно и так же внимательно, лечил всех родных, которые никого, кроме него, не признавали. Папа из своей ссылки писал ему о своих недугах и получал подробные письма с директивами, как ему себя вести, что принимать, и неукоснительно следовал всему предписанному.

Кроме всего, он был главным врачом Николаевского солдатского госпиталя, это была его основная работа. Как потом рассказывали служившие с ним, он удивительно относился к пациентам-солдатам; если от казны не удавалось получить нужное дорогое лекарство, он покупал его на свои деньги. Несмотря на свою мягкость, он был очень строг с персоналом, малейшее упущение каралось страшным разномом, когда надо, он умел и накричать, его боялись, но уважали. Его правилом было: «**Все для солдата**». И как же он был с ними ласков! Вероятно, многие прошли через его внимательные руки. Характерно, что после революции, несмотря на его генеральский чин, его не трогали, хотя весь дом знал о его бывших связях. Раз был обыск у кого-то в квартире, дядя думал, что пришли к нему и вышел сам, но ему вежливо ответили: «**Не беспокойтесь, доктор, мы вас знаем**».

После революции дядя стал жить очень скромно. Пропало наследство, которое Прасковья Петровна получила от тетки, дача, имение, которое она купила. Пенсия у дяди была небольшая, а работать врачом в какой-нибудь больнице или поликлинике не позволяли здоровье и возраст. Знатные пациенты уехали за границу, а те, что остались, ничего платить не могли, и он лечил их даром. Тут оказалась на высоте легкомысленная Прасковья Петровна. Она вспомнила свое балетное прошлое, возобновила свои балетные связи, она дружила с Вагановой⁶⁷, Романовой⁶⁸, Снетковой⁶⁹, вместе с которыми училась в школе и танцевала, и открыла у себя студию, которые в 20-х годах пользовались популярностью. У Прасковьи Петровны появилось много учениц, она оказалась талантливым педагогом и постановщиком, гостиная была большая, дядя был хорошим аккомпаниатором, он даже написал музыку к балету, который Прасковья Петровна поставила, получив для этого вечера театр Юсуповского дворца. Сперва балет дяди был на поэтический сюжет сказки Андерсена «*Цветы маленькой Иды*», но почему-то его переделали на сюжет «*Пигмалиона*». Был еще большой дивертисмент, так что все ученицы могли участвовать. Я помню этот очень удачный вечер, и были еще и другие. В общем, Прасковья Петровна сделала главой семьи и содержала всех, Аля еще учился в Путейском институте⁷⁰, да еще рано женился, и родилась дочка.

А дядя стал все больше болеть, малейший насморк переходил у него в воспаление легких, и только строгим режимом и заботами Прасковьи Петровны он дотянул до 1938 г., когда скончался от приступа грудной жабы.

Они перегородили большую гостиную себе на две комнаты, остальные комнаты большой квартиры постепенно занимались новыми жильцами. Дядя оставался таким же интересным собеседником, по-прежнему элегантным даже в старой куртке на меху и светлых фетровых валенках выше колен. Он много читал и играл на рояле. Посещали его старые друзья, тоже сильно постаревшие, такие как красавец Павел Захарович Андреев⁷¹, жаловавшийся: «**Стареем, Петр Кузьмич, стареем! Раньше каких только Людмил не поднимал, а теперь не могу!**»

Прасковья Петровна пережила войну и всех своих. Аля умер от голода в начале 1942 г., его жена с дочкой уехала в Москву. От Пани не было с начала войны никаких

известий. Она уже году в 25-м уехала лечиться в Германию, где вышла замуж в третий раз за немца Гельмута Кюппера из богатой семьи и жила в роскоши и довольстве. Она была очень интересной женщиной и талантливой художницей, ученицей Эберлинга, с которым делила мастерскую. За границей пользовалась успехом как портретистка, ее работы были напечатаны в одном журнале, который она переслала матери. Один раз она приезжала в Россию с мужем, красивым блондином, литературоведом. Паня была верх элегантности, но довольно чужая. Прасковья Петровна пыталась после войны найти ее через Красный Крест, но безуспешно, единственно выяснилось, что дом, в котором она жила в Берлине, разбомблен до основания. Затем Эберлинг получил сведения от одного художника, который был в Париже, что она погибла от бомбежки, где, когда — осталось неизвестным. В Париже была ее посмертная выставка. Прасковья Петровна, к счастью, об этом не узнала, но сама говорила, что, наверное, Пани нет в живых, иначе она дала бы о себе знать.

Прасковья Петровна после войны очень нуждалась, пенсию после дяди она получала крохотную, тетя Лиза в память дяди много ей помогала, но все же Прасковья Петровна принуждена была существовать продажей вещей, которых в конце концов почти не осталось. Благодаря своему жизнерадостному характеру, своей общительности и тяге к людям она никогда не была одна, всегда была окружена людьми, оставшимися друзьями, ученицами, очень всем радовалась. Ее окружала заботами до последнего дня жизни ее прежняя прислуга Маня. Рассказы ее о прошлых годах были очень занимательны и живы. Умерла она в 1960 г. 85-ти лет отроду, с ней ушла в прошлое целая эпоха нашей семьи.

Мама была старшей из пяти детей, родилась в 1875 г., вторым был Николай Васильевич, двумя годами моложе, затем шли Борис, Даниил и Елизавета; все имена давала тетя Саша, все чисто русские, маму же она уменьшительно прозвала Асей, как в повести Тургенева, которую очень любили они с бабушкой.

Николай Васильевич⁷² меньше всех других детей доставлял родителям беспокойства. Тихий, спокойный ребенок, примерный ученик гимназии, образцовый студент, известный ученый, он прожил долгую спокойную жизнь. Он мало говорил, был не очень общителен, причиной была, вероятно, довольно сильная глухота, которой он страдал с молодых лет, неутомимый, всеми ценимый труженик. Большую часть жизни он провел во Владивостоке, куда уехал по окончании восточного факультета Университета и защиты докторской диссертации, стал профессором Владивостокского восточного института, под конец — ректором, в Петроград вернулся в 1923 г. До конца жизни (умер в 1954 г.) был профессором восточного факультета Ленинградского университета, читал курс истории и географии Дальнего Востока и непрерывно вел большую научную работу. На праздновании его семидесятилетия мы узнали, каким замечательным ученым был наш скромный, тихий дядя Коля, с более [чем] сотней капитальных научных работ, с классическим трудом по истории Кореи. Он отличался необыкновенной добросовестностью и точностью в своих работах, ошибку у него было найти невозможно, так тщательно все им проверялось. Юбилей отмечался в круглом зале Кунсткамеры в Этнографическом музее, сотрудником которого он был многие годы. С восхищением все говорили, как щедро он делился своими знаниями с учениками и товарищами, его замечательная картотека была в распоряжении всех желающих, и справки, которые он давал, не требовали проверки.

Он был необычайно способен к языкам, знал около 40 языков, т. е. все языки, на которых имелась литература по его специальности; так, он говорил, что не считал нуж-

ным выучить румынский язык, потому что на румынском языке не было ни одного труда по Дальнему Востоку. Конечно, он прекрасно знал китайский, японский, корейский языки, подолгу жил в этих странах, глухота, к сожалению, мешала ему преподавать эти языки. Изучал он языки с необычайной легкостью, когда во время войны он поехал из блокированного Ленинграда в Алма-Ату, во время длинной дороги он выучил казахский язык, будучи уже пожилым человеком.

Пока он с семьей жил во Владивостоке, мы его знали мало, приезжали они редко, и он, и его жена и дети — все очень любили Владивосток и неохотно с ним расстались. В его наружности было что-то китайское, или это так казалось, он и говорил, немного пришепегывая, как говорят китайцы по-русски. В Ленинграде мы его узнали ближе. Он был очень привязан к сестрам, у тети и у мамы обязательно бывал по табельным дням; когда мамы не стало, стал приходить ко мне, правда, с ним было трудно говорить, приходилось сильно повышать голос, и после посещения оставалось чувство усталости. Но когда он начинал говорить о своей специальности, было интересно, он, не в пример другим специалистам, любил говорить на свою тему, рассказывал, как он читает лекции, как готовится, он говорил, что хотя читает свой предмет уже столько лет, на каждой лекции он старается дать что-то новое. Один раз я ужаснулась, когда он сказал, сколько лекций у него в неделю, и стала говорить, что в его возрасте это слишком утомительно, он возражал: **«Они знают, что я могу, и поэтому меня нагружают»**. Удар его настиг на посту во время очередной лекции, после которой он еще зашел к тете Лизе, и там уже обнаружили, что у него перекошено лицо, и отвезли его домой. Через несколько дней его не стало.

Он казался немного наивным в практической жизни, как бы не от мира сего, но это было обманчиво. Он был твердо убежден, что его работа важна и ему должны обеспечивать все необходимое. Когда были затруднения с дровами, он шел прямо к ректору и говорил, что в холоде он не может работать, и ему привозили дрова. Он прямо шел, к кому было нужно, и беспелляционно заявлял о своих требованиях, и это всегда действовало. Привычки его были простые, он сидел на какой-то диете, одевался в остатки своего гардероба, когда-то он был франт. Раз он насмешил, вспоминая прошлое: **«Многие ездили для покупок в Англию, а я всегда любил одеваться в Вене. Прекрасные там были вещи. Вот пиджак с 13-го года ношу»**. Действительно, пиджак был вполне приличный. Он был вообще очень аккуратен с вещами, в особенности с книгами, которые он не любил давать, а если и давал, то всегда обращал внимание на хорошее состояние книги и требовал, чтобы ее в таком же виде вернули.

Когда мы переехали на Мойку, они с тетей Лизой вздумали нас навестить, никого не застали дома, посидели на ступеньках и пошли домой. Это был последний его визит, он мне каждый раз при встрече пенял, зачем мы уехали с Васильевского острова, теперь ему далеко, и он не может ходить, как раньше. Его визитов не хватало. В нем была какая-то мудрость и удивительное спокойствие, он никогда не выходил из себя. Он мне раз сказал: **«В какой прекрасный возраст ты теперь вступаешь, волнения молодости позади, теперь можно жить полной жизнью»**. Это прозвучало удивительно успокаивающе.

Женат он был на Елене Николаевне Рыжовой, как ее называли в семье, Леле Владивостокской, в отличие от жены дяди Бори, которая называлась Леля Тверская. У них было трое детей — Кирилл, Николай и Марина. Кока погиб во время войны, ушел из дома и не вернулся, это было самое большое горе дяди Коли, отец он был очень нежный, а свою жену считал самой красивой женщиной. Под конец жизни

она, бедная, совсем ослепла, обстановка у них была мрачная, но дядя все переносил со стоическим спокойствием, его глухота создавала для него как бы завесу от действительной жизни.

Дядя Боря был совсем другой — живой, общительный, и по внешности другой; дядя Коля, мама, дядя Ваня были в Березкинскую семью, дядя Боря был, скорее, похож на Василия Васильевича — блондин со светлыми глазами. От отца он унаследовал и большие музыкальные способности, очень хорошо играл на виолончели. По образованию он был юристом, служил, кажется, в Сенате⁷³. Во время моих гощений у бабушки я всегда удивлялась, как поздно он идет на службу. Я постоянно встречала его на лестнице, когда возвращалась из школы. Он быстро сбегал вниз, что-то напевая, одетый со всем возможным щегольством, в канотье, с тросточкой и цветком в петлице. Он один из всех братьев не избежал военной службы, отбывал воинскую повинность и прошел две войны, правда, благополучно. Трудно было себе вообразить менее военного человека. В 1911 г. он женился на Елене Павловне Прохоровой. Я хорошо помню эту свадьбу, очень красивую. Венчание было в [домовой] церкви Академии художеств, поздравление шампанским в конференц-зале, а затем парадный обед у Прохоровых, которые были богатыми людьми и жили в собственном доме на Васильевском острове. Я была самой младшей из присутствовавших и сидела в конце стола с Катей Прохоровой — гимназисткой и Всеволодом Павловым — лицеистом. К свадьбе все сшили себе новые платья, бабушка и тетя Саша в светло-сером, мама в сиреновом, а тетя Лиза — в светлорозовом с серебряным поясом. Молодых проводили на вокзал, и они уехали в Швецию. Но их свадебное путешествие оказалось омраченным — умер дедушка Василий Васильевич. Затем дядя получил место товарища прокурора в Тверь, где они и обосновались. Должность прокурора так же мало вязалась с ним, как и военная служба: он был очень добрый человек и жалостливый, раз я слышала, как он жаловался: «Знаю, что убил, знаю, что мерзавец, а все-таки жалко». Юрист он был хороший и, по отзывам, выступал очень хорошо и уж, наверное, справедливо, человек он был необыкновенно порядочный, какой-то он был удивительно светлый. После революции они вернулись в Тверь, дядя демобилизовался и оставил совсем юридическую практику, а профессионально занялся музыкой, играл в оркестре и выступал в концертах. Ошибкой было, конечно, оставаться в Твери, где его прокурорское прошлое было всем известно, но он никакой вины за собой не знал, да и товарищем прокурора он был по уголовным делам. Но все же в 1937 г. он был арестован и умер в тюрьме.

Любимым дядей у нас был дядя Даня, Даниил Васильевич, он всегда жил в Петербурге, и мы его хорошо знали. Бесшабашный, веселый, красивый, он доставлял родителям вечное беспокойство. В детстве он много болел, и ему делались всякие побряжки. Очень способный, с прекрасной памятью, он, окончив коммерческое училище, не пожелал учиться дальше и где-то работал. Вечно он был в долгах, которые родители платили, долго не сумел устроить свою семейную жизнь, да и вообще остепениться. Но ему все всегда всё прощали — за доброту, за жизнерадостность, за обаяние, которое он излучал. Первой женой его была подруга тети Лизы, красивая блондинка, Тамара Верховская, певица. На этот брак все смотрели как на что-то временное, так оно и вышло: хотя была дочка Галя, они скоро разошлись. Вторым браком он женился на Анне Сергеевне Рессер, эту прелестную женщину все очень любили, и она внесла на некоторое время порядок в дядину жизнь,

дядя стал работать на открывшемся тогда «Скороходе», они устроили уютную квартиру, где мы очень любили бывать. Когда она первый раз приехала к маме с визитом, мы подсматривали в дверь, и Тамара, всегда решительная, определила: «Ворона!» Она была жгучая брюнетка, и ее очень портил большой нос. Но скоро «ворона» стала для нас «Анночкой Сергеевочкой», и Тамара в особенности к ней привязалась. Мама в ней души не чаяла, да и все также. Тетя Саша называла ее «Тихий свет». Но и она не смогла искоренить дядиного легкомыслия, вечную материальную неустойчивость — то дом полная чаша, то все продавалось, да еще вечные дядины измены. В 1925 г. она не выдержала, забрала девятилетнюю тогда Ирочку и уехала к матери в Париж, чтобы больше уже не возвращаться. Очень было грустно с ней расставаться.

Дядя после ее отъезда жил очень плохо, не работал, почти голодал, пока мама не забрала его к нам. Его скоро арестовали, он спутался с какой-то сомнительной компанией спекулянтов и получил три года высылки в Сибирь. Жизнь его там была ужасна, и он вполне искупил все свои ошибки. Если бы не мама и тетя, которые не оставляли его в тюрьме и потом слали ему деньги и посылки, он не вытянул бы своего срока. Здоровье его стало сдавать, на присланной оттуда фотографии мы его не узнали — старик в сорок пять лет вместо полного жизни и здоровья человека. И досталось же ему, бедному, в сибирской глуши, за сотни верст от железной дороги, в деревне Игнатьево около г. Нижне-Илимска, грязь и нищета, купить ничего нельзя, заработать тоже, т. е. полное бездействие и одиночество, когда не с кем было слова перемолвить ему, такому общительному. Оборвался он совсем, вокруг — масса уголовников, которые его, нищего, еще жестоко обокрали. И какие трогательные письма он нам писал, как был благодарен за те старые вещи, которые ему посылались, и наконец: «Ура! Свободен!! Совершенно!!! Без минуса даже!!!» (29.11.31). «Третьего дня прибегает один сыльный и передает мне от уполномоченного, чтобы я явился к нему за документами. Являюсь и получаю “чистую”. Я снова гражданин, я могу поступить на службу, теперь могу везде жить!»

Он решил поехать в г. Данилов, где отбывала ссылку его давнишняя приятельница Вера Александровна Сутугина и очень его звала.

Это хороший очень человек. Очень серьезный, положительный и страшно отзывчивый и добрый. Ее я знаю много лет. Когда я был в ссылке, а она на свободе, то я видел с ее стороны столько заботы и трогательного внимания, что мне только и остается, что предложить ей руку и сердце! Ей будет хорошо со мной, а мне с ней. Теперь я фокусы все позабыл. Мне кажется, что это раньше был не я, а кто-то другой. Буду жить теперь не для себя, а для других, так много помогших мне в эти тяжелые годы.

Еще предстояла ему тяжелейшая дорога, вконец его измотавшая. Наконец он пишет из Данилова: «Я полон последним событием: я на службе. Перед этим меркнет все, что было со мной до сих пор, я не хочу вспоминать про Сибирь». Мечтает переехать в Валдай, и чтобы мы все приезжали к нему на лето. А 02.03.32 он скончался от удара, о чем написала его жена:

Умер он в 7 утра 2 марта. Удар был ночью около 12. Он сел на постели и сказал: «Верочка, мне плохо», потом: «Господи, неужели второй удар» — и стал молиться. Потом просил

прощения за то, что с ним удар. Он с самого начала приезда боялся мысли, что при ударе останется парализованным и будет мне в тягость <...>, я этого ожидала в первые дни приезда. Когда он приехал, я его почти не узнала — так мало осталось от него прежнего, Данилы. Он ходил еле-еле, был страшно худ и очень плохо себя чувствовал. Но потом стал скоро поправляться, особенно после записи в ЗАГСе. Через месяц его уж тут, в свою очередь не узнавали, так он поправился, потолстел, помолодел, стал ходить быстрее меня, много гулял, очень хорошо ел, смеялся и шутил по-прежнему.

Хорошо, что он хоть последние месяцы был с близким и хорошим человеком, очень его любившим. Его вообще любили, несмотря на все его недостатки, вероятно, за его добрую душу.

Получив известие о его смерти, папа написал: «**Какое тяжелое известие ты мне сообщила в письме, которое я получил вчера от тебя. Как ты знаешь, я Даню очень любил еще с того времени, как он был мальчиком. Он отличался добродушием и располагал к себе всех, кто его знал**» (14.03.32).

Самой младшей из Кюнеров была тетя Лиза, старше меня всего на 11 лет, так что, скорее, была мне подругой, чем теткой, мы с ней были дружны всю жизнь. Сперва она меня нянчила, была горда, когда ей давали меня поддержать, потом играла со мной в куклы. Когда стала взрослей, стала предметом моего восхищения, была очень хорошенькой, цветущей девушкой. В Силламягах за ней ходила толпа поклонников, и ей оставалось только выбирать. Она выбрала старшего сына И. П. Павлова, ставшего нашим дядей Волей, физика по профессии. На их свадьбу я не попала, так как заболела корью, в утешение получила только красивые свадебные конфеты. Потом молодые поселились в хорошенькой квартире на Церковной⁷⁴ улице Петроградской стороны, все было новое с иголки, с ними поселилась бабушкина Дуня, очень любившая свою «барышню» и снявшая с нее все хозяйственные заботы. Обычно мы, дети, приезжали к ним на целый день и весело проводили время, они были сами еще так молоды и играли с нами, как дети. Но скоро тетя заскучала, в сущности, ей нечего было делать. Дядя Воля уходил в университет на целый день, она оставалась одна, занималась пением, но петь ведь много нельзя, вышивала гладью шелком по сукну никчемные подушки, читала, для нее, деятельной натуры, этого было мало, скучала без бабушки. Конечно, у них были друзья, которые собирались, чтобы играть в бридж, ходили в гости, в театры и концерты. У них не было детей, мы, конечно, не могли заменить собственных. Затем, в 1911 г., дядя Воля получил командировку в Кембридж, где они прожили два года. Первый год тетя томилась в «противной» Англии, все ей было чуждо — и быт, и люди, и еда, язык она знала еще плохо и тоже была много одна. Письма писала меланхолические, подписывалась: «**твоя старая, морщинистая, седая тетка Бетти**», это в 20 с небольшим лет! На второй год освоилась, завела друзей и потом Англию вспоминала с удовольствием. Вернулись они в 1913 г. и поселились у бабушки. Скоро началась война, и дядю Волю призвали в армию. Во время войны тетя оживилась, вместе с женой дяди Бори стала работать в каком-то комитете и ходила туда ежедневно, как на службу, но, конечно, работала даром, тогда было не принято замужней женщине работать за деньги, работали только незамужние или вдовы. Но все-таки это был какой-то полезный род деятельности и давал удовлетворение; видимо, жизнь обеспеченной, бездетной женщины была не для тети. Она была очень образованной, кончила после Мариинского института исторический факультет Педагогического института, но приложить свои знания у нее не хватало энергии, да и в дореволюционное время это было почти невозможно.

Все для тети изменилось после революции. Пришлось работать, бороться с тяжелыми условиями быта, совершился и перелом в личной жизни. В 1918 г. тетя и дядя Воля решили разойтись, и тетя вышла замуж за Валентина Александровича Догеля, с молодых лет ее любившего, делавшего ей предложение, на которое получил отказ. Чтобы развеяться, он отправился в Южную Африку, вернувшись, наладил хорошие, дружеские отношения и ждал. И дождался. Владимир Иванович пережил разрыв тяжело, но сказал, что лучше пусть один будет несчастлив, чем трое... Он был человек очень мягкий и добрый, но не очень энергичный. Валентин Александрович зато был очень живой, деятельный, сумевший вдохнуть энергию в тетю, которая забыла с ним свою меланхолию. Появилась Лика, затем Вета, новые заботы о бабушке, которая стала сильно сдавать и которую тетя любила больше всех на свете. Она как-то мне сказала, что брак с Волей вышел неудачным, потому что она жила врозь с бабушкой. А теперь бабушка поселилась вместе с ними. В общем, ее нельзя было узнать, столько в ней появилось бодрости, жизнерадостности, о скуке больше не было и речи. Валентин Александрович окружил ее такими заботами, таким вниманием и действовал так взбадривающе, что их брак можно было назвать счастливым. Владимир Иванович тоже скоро женился, имел троих детей, но оставался с тетей и Валентином Александровичем в дружеских отношениях, теперь он ходил к ним еженедельно играть в бридж. Жена Ивана Петровича Сарра Васильевна очень негодовала на тетю и долго не могла ей простить, не хотела замечать никого из нашей семьи, при встречах не отвечала на поклоны. Даже я оказалась в немилости. Раз меня Владимир Иванович зазвал к себе, он еще не был женат и жил у родителей. Мы посидели у него в комнате, а потом он провел меня в гостиную, чтобы показать картины, которые он с отцом собирал. В это время вошла Сарра Васильевна и приняла ледяной вид. **«Ты разве не узнаешь Лидочку?»** — Она повернулась и ушла. Лишь на похоронах младшего сына Всеволода она сама подошла к тете, обняла ее, и мир был заключен.

В лице Валентина Александровича мы получили нового, чудесного дядю, человек он был совершенно исключительный по доброте, вниманию к людям, заботе о всех, о своей семье, родных, учениках. Как говорила тетя в последние годы его жизни: **«Валя делается совершенно святым»**. Не говоря уже о том, что он был замечательным ученым-зоологом, оставившим после себя целую школу.

Когда дети выросли и не требовали уже таких забот, а бабушки не стало, тетя опять помрачнела, ей, видимо, была нужна активная жизнь. Отчасти и Валентин Александрович уж слишком окружал ее заботами, буквально ничего не давал ей сделать. Он умел мимоходом поставить самовар, накрыть на стол, и все это быстро, весело, никогда его не видели в дурном расположении духа, удивительный он был человек, успевал много: работать, писать, готовиться к лекциям, домашняя суতোлка ему не мешала. Спал он в столовой на диване, тут же работал за письменным столом, всегда был приветлив, готов за любого похлопотать, устроить. Только скажет: **«Лизанька, напомните мне, пожалуйста, чтобы я не забыл, такая-то кончает, у нее плохо со здоровьем, надо похлопотать, чтобы ее оставили при университете»**. Они с тетей остались на «Вы», это придавало некоторую церемонность в их обращении друг с другом. У него был большой круг учеников, которые до сих пор хранят о нем светлую память.

Детей он своих любил безгранично. Помню, когда Лика вышла замуж и тетя была чем-то недовольна в поведении зятя, он говорил: **«Не надо, Лизанька, ничего**

говорить, я хочу, чтобы она была совершенно счастлива». Он старался, чтобы и дурные вести до нее не доходили, так, он категорически запретил говорить ей об аресте дяди Бори, а потом о его смерти, что было, конечно, невозможно. Если бы от него зависело, он держал бы ее в вате. Он был счастлив, создав себе семью, да и вообще прожил счастливую жизнь, которую вполне заслужил.

Тетя всегда прибодрялась в трудные времена. Так было во время войны, в трудных условиях эвакуации в Алма-Ате, когда ей приходилось в жару вести сложное хозяйство, ходить на базар, стряпать на балконе, на мангале, да и после возвращения в Ленинград ей пришлось много работать, пока жизнь опять не наладилась. Она была очень медлительна и вместе с тем педантично аккуратна, поэтому все у нее занимало много времени, делала она все хозяйственные дела преимущественно ночью; когда все спали — она бодрствовала, ставила тесто, пекла, готовила обед на завтра. Она всегда была ночным человеком, засыпала поздно и просыпалась по возможности тоже поздно. Из эвакуации она вернулась страшно похудевшей, непривычные южные условия и беспокойство об оставшихся в Ленинграде ее совсем извели, только через некоторое время она пришла в относительную норму.

После смерти мамы она считала своим долгом нас опекать, особенно ценны были ее заботы во время последней, смертельной болезни Тани. Таня никого не хотела видеть около себя, кроме своих, но постоянно просила: «**Позвони, пусть Тетичка приедет**». И тетя приходила, бросив все свои дела и сидела около нее, вспоминая всякие мелочи прошлого, что Таню развлекало. Исполнила она и последний каприз Тани, привела ей собаку, которую нашла в ужасных условиях у сторожихи Александро-Невского кладбища, где приводила в порядок могилы. Когда она рассказала Тане о бедной Зорьке, какая она голодная и забитая, Таня пристала, чтобы она ее привела. И тетя привела ее пешком из Лавры на Васильевский остров на какой-то громадной цепи, вероятно, лошадиной, худую, грязную. По дороге еще вздумала зайти в кондитерскую за пирожными, чтобы нас побаловать. С юмором рассказывала, как величественно дала цепь швейцару: «**Подержите собачку!**», который так удивился, что приличная дама в каракулевом пальто ведет такую страшную собаку, что даже не запротестовал. Таня была ужасно рада и привязалась к собаке. У тети была прелестная манера говорить с тонким юмором, еще хороша была у нее улыбка, чудесные зубы ее очень красили, и когда она улыбалась, то молодела на десять лет.

Таня при ней и умерла. Тетя расчесывала ей волосы, когда она почувствовала себя худо и сказала, что умирает. Тетя спокойно взяла ее за руку, сказала: «**Танечка, тебе просто дурно**», хотя пульса уже не было, она не хотела ее пугать и нашла в себе достаточно присутствия духа.

Валентин Александрович скончался от удара в 1955 г. В день смерти он ненадолго пришел в себя, узнал ее, улыбнулся ей, как она говорила, своей жалкой, кривой улыбкой и пожал ей руку. У него была парализована одна сторона.

Тетя пережила его на несколько лет, но жизнь ее стала печальной. Она говорила, что только после его смерти она поняла, что потеряла. Последние ее годы были уже не жизнью, а прозябанием при развившемся сильном склерозе. И как потом ее не хватало!

Папа очень любил тетю Лизу, она была для него вроде старшей дочери; он ее баловал, вывозил в театры и на концерты, после чего она оставалась у нас ночевать, и мы с радостью обнаруживали, что в гостиной спит тетя Лиза. Папа любил ее пение, у нее

был хороший голос *mezzo soprano*, часто ей аккомпанировал, раз уговорил ее выступить на благотворительном концерте, и они много перед этим репетировали.

Наши детские годы

Если вспоминаешь детские годы, то вехами оказываются летние месяцы, в особенности в дошкольные годы, зимы мелькали быстро и как-то однообразно, а лета, проведенные там-то и там-то, очень отличались друг от друга, были богаты впечатлениями. Летом дореволюционный Петербург пустел на глазах, как только кончались занятия в школах и высших учебных заведениях. Оставались в городе только отцы семейств, связанные службой чиновники или совсем неимущие жители, потерявшие связь с деревней. Летние жители города получали сполна жару, пыль (поливочных машин не было, разве что дворники в центральных районах поливали улицы из шлангов). Начинался повсеместный ремонт жилых домов, запах краски, извести. Словом, в представлении тогдашних петербуржцев — ад. Красота города летом, его белых ночей мало кого трогала, иностранных туристов не было и в помине, а из провинции приезжали разве что по делам и смотрели на это как на пытку. Ехать в Петербург летом для удовольствия никому и в голову не приходило. Вероятно, и первооткрыватели красот нашего города — архитекторы, историки, деятели мира искусств — тоже предпочитали летом отсиживаться на отечественных и зарубежных курортах и очень бы поразились массой экскурсионных автобусов, с утра до ночи циркулирующих по городу или стоящих на солнцепеке на Дворцовой площади или у Марсова поля, представлявшего тогда песчаную пустыню, которую было страшно пересечь, толпам в залах Эрмитажа.

Одним из редких людей, любивших летом оставаться в городе, был мой отец; в пустой, тихой квартире и такой же опустевшей лаборатории без обязательных лекций он мог спокойно работать; летом он работал наиболее плодотворно, когда его никто и ничто не отвлекало, одиночества он не замечал, а когда чувствовал потребность в отдыхе, ехал на несколько дней — на неделю к семье на дачу. Район, где мы жили, был летом малопривлекателен, это сперва Николаевская [ул.], 61, с 1897 по 1901 г., а потом, до 1917 г., — Ямская [ул.]⁷⁵, 32, кв. 9. Это было близко к местам его работы — Технологическому институту⁷⁶, Константиновскому артиллерийскому училищу⁷⁷ и Женским политехническим курсам⁷⁸ (угол Загородного [пр.] и Серпуховской ул.). Зелени почти не было, местом наших прогулок в детстве был небольшой садик Первой мужской гимназии⁷⁹ на Кабинетской улице, угол Ивановской⁸⁰, и скверик вокруг Владимирской церкви, где мы гуляли вместе с детьми профессора С. Ф. Платонова⁸¹ Марусей и Мишей и четверьмя девочками профессора Б. М. Кояловича⁸². Правда, наш конец Ямской улицы между Ивановской и Разъезжей несколько отличался от участка между Разъезжей и Кузнечной, гораздо более торгового и шумного. Квартира наша была на 5-м этаже в хорошем, благоустроенном доме с солидными, состоятельными жильцами. Окна выходили на улицу, и открывалась панорама на крыши. Комнаты были высокие, большие, лестница с ковром и белой дорожкой, внизу в каморке жил швейцар Василий, который принимал почту, помогал гостям-мужчинам раздеться внизу, вечером запирал подъезд; если кто-то из нас должен был поздно вернуться, просил не запиравать дверь в квартиру, а наоборот, отпереть, чтобы спящих не беспокоить звонком. Отдельные ключи у нас не водились, Василий же

всех жильцов знал в лицо, да и по имени-отчеству тоже, так что никого постороннего не пустил бы.

Наши ближайшие улицы были плохо освещены вечером, в первые годы нашей жизни на Николаевской и Ямской на них электрического освещения еще не было, и вечером мы детьми любили смотреть из наших окон в сумерки, как фонарщик шел по улице с лесенкой, приставлял ее поочередно к фонарям, влезал на нее, и постепенно вся цепочка их начинала гореть. На Загородном же было хорошее освещение, главным образом светили витрины магазинов, которых было много. У некоторых горели большие шаровидные фонари, дававшие большой круг света и издававшие легкое шипение. В праздничные дни и иллюминация осуществлялась масляными плашками, вроде стаканчиков из разноцветного стекла, которые стояли на карнизах, осталось впечатление, что и на крышах домов (как они там крепились?). Было очень красиво, мы шли всегда задрюхав голову. Понемногу электричество распространялось по городу, у нас уже в 1902 г. было электрическое освещение, а на Николаевской у дедушки еще горели лампы с газовыми горелками, слегка шумящими, дававшими белый свет. Телефон папа провел у нас очень рано, мы с малых лет научились им пользоваться, сперва подставляли стул, чтобы дотянуться до трубки, в которую надо было говорить: «95-35».

Скоро мы познакомились и с трамваем, в 1908 г. Первый трамвай около нас пустили по Садовой⁸³; папа специально взял нас прогуляться, чтобы прокатить, но на всех были дощечки на задних площадках с надписью «занято», стоять тогда в вагоне не полагалось. Папа нас утешал: «Успеете еще накататься», в чем оказался безусловно прав. До этого были конки, на них мы почти не ездили, только к тете Лизе, по Кронверкскому [пр.] она ходила очень долго, а так ходили пешком или брали извозчика, которых много стояло на улице в ожидании седоков. От Знаменской [пл.] до Александро-Невской лавры ходил по Старо-Невскому паровик, который сильно пытел и обдавал дымом⁸⁴.

С конца мая квартира приводилась в летний вид. Ковры чистились чаем, перекладывались газетами, смоченными в керосине, затем скатывались в толстые колбасы и укладывались у стен. Снимались портьеры с окон и дверей, на мягкую мебель надевались пахнущие свежей стиркой суровые холщовые чехлы, на люстры — марлевые мешочки, марлей же завешивались зеркала, со столов и полок убиралось все лишнее, квартира делалась пустой и прохладной из-за опущенных штор, немного пахло нафталином. В квартиру вселялась кроткая маленькая полуглухая домашняя портниха Ольга Васильевна с дочкой Надей. Она убирала, носила прачке белье, готовила утром кофе, вечером чай, разговорами папе не докучала. Обедал он в ресторане, обычно своем излюбленном — Лейнера на Невском пр., д. 18, на углу Конюшенной⁸⁵. Когда я стала оставаться с папой весной и осенью из-за школьных занятий, а мама с сестрами уезжала на дачу рано, папа заходил за мной в школу, и мы шли к Лейнеру обедать. Ресторан был солидный, семейный, днем во всяком случае еда была изысканная, особенно интересно было, что обед состоял из семи блюд, но порции были деликатные: тарелочка супа, пирожок, кусочек рыбы, спаржа или артишок, грудка рябчика, тонкий ломтик жаркого, сладкое и кофе, так что я легко справлялась под невозмутимыми взглядами лакеев. А папа забавлялся, что, наверное, они его жалеют: вот бедный вдовец с ребенком.

Куда же ехали на лето петербуржцы? Кто побогаче — в свои имения, за границу, на южный берег Крыма, на Минеральные Воды. Кавказское побережье только осва-

ивалось, была построена гостиница в Гаграх, Ривьера в Сочи только строилась. Очень популярны были курорты под Ригой и в Эстонии. Прибалтийские бароны и помещики строили в своих имениях дачи и сдавали их. Многие петербуржцы предпочитали более суровую Финляндию; кто не хотел возиться с хозяйством, жили в многочисленных пансионатах.

Мы сперва жили в деревне Долговка, потом в Гатчине, но этого я почти не помню. А затем, до 1907 г., в Силламягах один год, а затем в Тюрселе, где жила бабушка. Когда мы жили в Силламягах, папа провел телефон, соединявший нас с бабушкиной дачей, иногда ветер срывал провода, и папа бежал налаживать связь. Кроме телефона, по которому я говорила, у меня от этой дачи в памяти ничего не осталось. Дача в Тюрселе стояла на самом берегу моря между пляжем и речкой, которая текла параллельно морю и за нашей дачей впадала в море. У нашей дачи был мостик, соединявший нас с сушей. Летом речка так мелела, что мы гуляли по ней, не промачивая ног, перепрыгивая с камня на камень, зато дальше был омут с желтыми кувшинками. Берег моря был весь из камней, у самой воды мелких, дальше крупных, за зиму весь наш садик закидывало камнями, папа терпеливо каждое лето его расчищал и нас заставлял на носилках носить камни обратно к морю. Он всегда любил физическую работу на воздухе и здесь проводил дорожки, обкладывая дерном клумбы, и сажал цветы. На следующее лето приходилось начинать все сначала. Первое время по приезде очень был слышен шум моря, затем к нему привыкали и не обращали внимания. К бабушке на дачу ходили по мосткам, которые были проложены по каменистой косе вдоль речки. За бабушкиной дачей шли другие дачи, все довольно ветхие и мало комфортабельные, всюду жили знакомые. Когда мы проходили мимо дачи Павлова, жена Ивана Петровича Сарра Васильевна, очень любившая детей, всегда нас зазывала и угощала конфетами. А Иван Петрович обычно копался в саду, он тоже был поборник физической работы, но как только его звали обедать, сразу все бросал: «Иду, Саррочка, иду!», что нам всегда ставилось в пример: такой великий ученый и такой дисциплинированный. Вечером его можно было видеть играющим с молодежью в городки. Раз он встретил нас с няней и повел искать рыжики — он был страстный грибник и знал все места, так что мы много набрали.

К бабушке обычно ходили пить кофе после обеда, который вся бабушкина семья пила на открытой веранде, часто были и гости. Самое страшное для нас, детей, было пройти через эту веранду из-за наших дядей, которые очень любили нас дразнить. Как только завидят нас, сразу хватают ножи и принимаются якобы точить зубы: «А вот сейчас мы будем их есть!» Мы с криком бросались под защиту бабушки в ее комнату. Эта комната была проходная, полутемная, затемненная большим деревом перед окном, стол перед окном был, как и в городе, завален шитьем. Бабушка всегда выбирала себе самое неудобное жилье. Потом мы шли с бабушкой и тетей Сашей гулять, чаще всего вдоль моря, в одну сторону, к так называемому большому камню, или в другую, через деревушку, называвшуюся «Рыбачьи хижины», там рыбаки-эстонцы коптили только что выловленную салаку, мы покупали ее к ужину еще горячей. Это был наш любимый ужин, еще любили мы местные кровяные колбаски с гречневой кашей, свернутые в виде маленьких бубликов, да еще традиционную простоквашу. Дальше за деревней берег становился высоким, обрывистым, на обрыве росли удивительные сиреневые цветы, сильно пахнувшие, назывались они «лунниками», больше я нигде их не встречала. А осенью листики становились прозрачными, как слюда, и держались всю зиму.

Последнее лето я ходила каждое утро к тете Саше заниматься, она готовила меня в школу. Тетина комната была прохладной в летний день, это было удивительно приятно, а под окном шумело море. Купались мы очень редко, море было холодное, босиком ходить нельзя было из-за камней. Купались обычно в купальне, вынесенной далеко в море, а мылись в ванном заведении, вода была очень жесткой. и волосы мыли особой местной глиной.

Это был хотя и скромный, но все же курорт. В Силламягах в парке каждый вечер играли музыканты: взрослые, няни и бонны сидели на скамейках, а дети собирались в круг и играли в традиционные игры того времени — кошки-мышки, золотые ворота, горелки. Помню одну девочку, которая была удивительным организатором. Звали ее Эльза Тилик. Пока Эльзы не было, ничто не клеилось, как только она появлялась, сразу становилось весело. В курзале устраивались балы для молодежи, а до этого, до восьми часов, для детей. Детей было много, и все были между собой знакомы. К очередному балу надевались кружевные или кисейные платя на чехлах шелковых, розовых или голубых, вместо пояса — широченные муаровые ленты, в цвет, сзади — бант. В дополнение к бальному наряду — белые лайковые башмаки на пуговках или туфельки с розетками и белыми носочками. Мальчикам полагались белые матросские костюмы. Волосы на ночь накручивались на бумажки, затем припекались утюгом и расчесывались на свечке, так что получались красивые колбаски. Раз в лето — событие, так называемый «Цветочный бал», во время которого перед каждым танцем раздавались букетики цветов в бутоньерках, бумажные костюмы и шапочки. Готовили все это взрослые барышни и гувернантки, а потом сами танцевали допоздна. Все детские дни рождения и именины отмечались на каждой даче торжественно. Балконы убирались гирляндами из зелени черничника и брусники, стул виновника торжества — тоже, развешивались самодельные фонарики из промасленной бумаги для вечерней иллюминации. Папа обязательно устраивал вечером фейерверк, который привозил из города. На море всегда было сыро, и удавались обычно только римские свечи, мы затыкали уши и поджимали ноги, опасаясь «лягушек», которые редко прыгали. Днем подавался шоколад со всякими тортами и пирожными, все это готовилось дома или бралось в булочной, специальностью этой булочной были замечательные пирожные с крыжовником, которые все жившие в Силламягах всегда вспоминали. Воспроизвести их ни одной хозяйке не удавалось. Шоколад теперь тоже отошел в область предания. Приготавливался он из особого шоколада — «лом», который натирался на терке, варился в молоке, затем сбивалась венчиком пена, заполнявшая половину чашки. У нас празднество устраивалось 6-го августа, в день рождения Тамары.

Все это устраивалось обычно так называемыми боннами, полуниями, полугувернантками из прибалтийских немочек, не очень культурными, но умевшими занять детей и научить их бегло болтать по-немецки. Они учили нас и «манерам». Если на прогулке встречались знакомые дамы, то надо было остановиться и сделать «книксен», т. е. присесть на одной ноге, а мальчикам шаркнуть ножкой.

Перед отъездом с дачи, который всегда ожидался с грустью, мы детьми любили обходить дачи, с которых дачники уже уехали, заглядывали в окна, рассматривали обои, мебель в пустых комнатах, а потом собирали с клумб оставшиеся цветы и увозили в город.

24 июня, на Ивана Купалу, по эстонскому обычаю, разжигались на море костры, через которые прыгали смельчаки. Наши горничные всегда отпрашивались на этот

вечер, наряжались в новые ситцевые платья, шуршащие от крахмала, и казались нам красавицами.

Но, в общем, мы плохо поправлялись за лето в этих местах — то ли климат был суров, то ли было слишком много развлечений. В конце концов дядя Коля Березкин уговорил маму поселиться у него на лето в Мошнякове, тут началась совсем другая жизнь, и мы прожили привольные четыре года в Новгородской губернии, на полуостанке Заозерье между Окуловкой и Боровенкой.

В Мошнякове нас точно выпустили на волю. У дяди Коли была своя система воспитания своих детей, очень разумная, которая распространилась и на нас. Полная близость с природой, никакого стеснения, но вместе с тем дисциплина и то, что теперь называется трудовое воспитание и физическая закалка. Никаких нарядов, все самое простое и удобное, хождение босиком во всякую погоду, туфли снимались по приезде и выдавались в день отъезда, когда в них едва можно было втиснуть ноги, так они растапывались за лето. Сандалии надевались только в лес и на жнивьё, на голове — ничего, считалось, что дождь только полезен для волос. Но никто не простужался, и нас скоро нельзя было узнать.

Жили мы в так называемой старой даче, примыкавшей к хозяйственному двору. Через небольшой парк был дядин дом, который он сам выстроил. Купленный по чьему-то недосмотру сгорел. Дом был двухэтажный, бревенчатый, внутри бревна не были оштукатурены, отчего был приятный смолистый запах. Внизу была большая столовая, там стоял инкубатор, который в первый наш приезд нас страшно интересовал, мы в первый раз видели, как из яиц вылупляются цыплята. Рядом была маленькая гостиная с пианино, на котором можно было упражняться, спальня дяди и его жены, две комнаты для гостей, наверху жилые комнаты, выходящие в большой холл, большие веранды наверху и внизу. Обстановка городская, но все простое и удобное. Дом строился без архитектора, но мог бы сделать честь любому. Была построена водоподкачка, так что в доме были водопровод и ванная. У нас на даче водопровода не было, и мы ходили мыться к дяде. Детей летом набиралось много, своих и чужих. И дядя, и его жена должны были очень любить детей, чтобы терпеть все лето такую ораву, кроме дядиных двоих и нас троих, постоянно гостили племянники Инны Цезаровны, Женя и Волик с бонной, Дехтяревы, какой-то маленький Вадик с няней, девочка бывшей бонны Линда, совсем большая девочка Люба, еще приезжали девочки Лашкевич, Женя и Кира, дети брата Инны Цезаровны Кавосы — одним словом, все, кому некуда было летом выехать на дачу. У нас наверху жила тетя Вера, которую дядя Коля очень любил и называл «Другиня», она всегда брала с собой кого-нибудь из своих неимущих учеников. Так что собиралась громадная детская колония во главе с младшей падчерицей дяди Инной и кончая трехлетками Таней и Адей. Заводилой во всем была Инна, здоровая, сильная, веселая девочка. Она все делала замечательно — плавала, ныряла, ездила верхом. Никто не умел так, как она, с упоением носиться в казаки-разбойники, нашу ежевечернюю игру. К нашему великому сожалению, она скоро стала взрослой и только иногда снисходила до крокета, тоже нашей излюбленной игры, в которую мы играли виртуозно. Пять лет в таком возрасте много значат, и у нее появились свои интересы.

Часто мы обедали и ужинали у дяди. Он время от времени осведомлялся у мамы, как мы едим, и если она говорила, что неважно, то говорил: **«А ну-ка, на неделю ко мне на пансион»**. И мы за большим столом в компании чудно ели, все самое простое — макароны, кашу, картошку с грибами, пили молоко кружками. Оставлять

ничего не разрешалось. За столом было весело. Веселил всех дядя, но была и дисциплина; боже упаси выйти из-за стола, вертеться на стуле, стоило дяде посмотреть своими пронзительными глазами, как виновник был готов провалиться сквозь землю. По вечерам он часто замечательно пел русские юмористические песни или новгородские частушки.

Основное, что он от нас требовал, — это правдивость и храбрость, самым страшным пороком были ложь, лень и трусость, слез он не терпел. Но мы его любили, чтобы заслужить от него «молодец», мы готовы были на все — прыгнуть с плота в воду, проскакать на неоседланной лошади, не заплакать, если ушибешься. Помню, один раз, не заметив меня, он наступил мне на босую ногу. Мне было ужасно больно, но я не заплакала. Он сам очень испугался, но похвалил: **«Молодец, что не плачешь, за это люблю»**. Я была счастлива и горда.

Пасли нас коллективные бонны, часто менявшиеся и не очень удачные, так что мы предпочитали обходиться без них. Но как-то дни наши организовывались, и мы вовсе не были стаей диких. Дядя Коля был таким авторитетом в наших глазах, что послушаться его распоряжений было немислимо. Было строго определено, что можно, что нельзя, куда можно ходить, куда нельзя. По усадьбе мы ходили одни, далеко ходили со взрослыми.

Мы не только развлекались, у нас были и обязанности. Весной по приезде нашей работой было сгребать граблями прошлогодние листья в парке, потом их жгли. За каждую кучку определенной высоты выдавалось по конфете. Нине, Тамаре и мне на огороде всегда отводилось по грядке, сажали, что хотели, но обязаны были поливать и пропалывать. Грядки проверялись время от времени, и очень стыдно было, если они оказывались заросшими сорняком. Во время сенокоса надо было ворошить сено, во время жатвы — вязать снопы, разрешалось и самим жать, что очень нравилось, и не было случая, чтобы кто-нибудь порезался. Как-то купили для нас двух козлят, чтобы мы за ними ухаживали, но козлята были проказливые, а мы — не очень внимательные, они часто забирались в огород, и их ликвидировали.

Вообще в имении обстановка была трудовая. Были и управляющий, и рабочие, но хозяева сами подавали пример. Дядя и его жена работали от зари до зари. Дядя вечно волновался, проверял барометр, косить — не косить, жать — не жать. У него постоянно копали канавы, корчевали пни, отвоевывая новые луга и пашни. Имение было маленькое, дохода, конечно, не приносило, но для себя всего хватало, а главное, обеспечивало и взрослым и детям здоровую жизнь. Даже рыба была своя — в речке водились форели, и дядя был мастер их ловить самодельной удочкой. Папа тоже захотел стать рыболовом и раз появился из города с роскошным спиннингом и ничего не поймал. Все над ним подтрунивали, что шумом от катушки он распугивает всю рыбу.

Само местечко было прелестное, с извилистой речкой Хоринкой, с крутыми, обрывистыми берегами, с громадными сосновыми лесами, большей частью казенными, с седым мхом, в котором росли белые грибы, на болотах масса черники и голубики. А столько ландышей я больше никогда не видела. Были чудные луга с травой по пояс, но по траве, конечно, ходить было нельзя, разве что очень соблазнишься какой-нибудь ночной красавицей, но так, чтобы следа не оставить. То цвел голубой лен, то розовая гречиха. За грибами мы ходили с азартом, особенный грибник был дядя, он видел, как мы говорили, под землей. Идет сзади всех и подбирает пропущенные грибы. Утром друг перед другом старались встать пораньше, чтобы обе-

жать ближние места, и тут он всех опережал, к нашему приходу у него на крыльце уже были выложены десятки белых. Было и озеро недалеко, через железную дорогу, полустанок поэтому и назывался «Заозерье». Там можно было у крестьян в деревне взять лодку, и купанье было хорошее. А так купались мы на мелком месте на речке, все выучились плавать и нырять с плота.

По воскресеньям нам давали бедного старого Катыша, мы его сами седлали и катались на нем по очереди от скотного двора до дома. Он это очень не любил и старался свернуть в конюшню или становился задними ногами в канаву и пытался стряхнуть своего мучителя.

Раз мы провели там пасхальные каникулы и почувствовали прелесть весны в деревне с первыми синими перелесками и сморчками на пригретых солнцем горюшках.

Насладились мы деревенской жизнью вполне, но, к сожалению, имение скоро продали, и нам пришлось искать на лето новое пристанище. Мы все так полюбили усадьбную жизнь, что не хотели и думать о курортах.

В газетах часто помещались объявления, что в таком-то имении сдается на лето барский дом или дача. Многие из владельцев усадеб сами там не жили, или имения уже перешли к более коммерческим людям, которые не прочь были извлечь доход и путем сдачи домов. Так, одно лето после Мошнякова мы жили под Боровичами, в большом деревянном помещицьем доме в яблоневом саду на высоком берегу реки Мсты, затем четыре года — в имении Котлованово на станции Кафтино по Виндавско-Рыбинской железной дороге, на второй станции после Бологое, где нам очень понравилось. Владельцы, некие Любимовы, понастроили дач, вели большое хозяйство и своих дачников снабжали всем необходимым — молоком, хлебом, овощами, яйцами, птицей и т. п. Сухие продукты, крупу, сахар можно было покупать в деревенской лавке, типичной для того времени, где тут же имелись и керосин, деготь, сбруя рядом с конфетами ядовитого красного и зеленого цвета. Гастрономия, конфеты и всякое подобное баловство привозилось из города папой, исправно исполнявшим обязанности дачного мужа, которого мы каждый его отъезд снабжали длинным списком. С собой мы привозили всегда на лето запас нашей любимой колбасы салями, которая могла лежать сколько угодно, и соленым печеньем «*Capitaine*»⁸⁶. С дачи папа возил в особом чемодане гармошкой банки с вареньем, мама наваривала его массу, ягод была тьма. Помню, как раз мы были разбужены среди ночи стуком кнута в окно; это стучал водовоз Афоня, он же кучер, который передал чемодан, сказав: «**Барин прислали обратно и очень сердились**». Банки дорогой разбились, и бедный папа вылавливал из варенья свои воротнички и записные книжки. Но варенье он сам любил, особенно из лесной земляники, так что терпел нагрузку.

Через речку напротив имения было сельцо Котлованово, где были две церкви, одна, видимо, старая, белая, оштукатуренная, другая — красная, кирпичная, где и служили службы. Мы по воскресеньям ходили туда к обедне, и всегда в боковом притворе стоял гробик с восковой куколкой: дети умирали часто. Под белой церковью был таинственный склеп, где были захоронены бывшие хозяева усадьбы. Мы как-то с подругами увлеклись вызыванием духов при помощи блюдечка, а нам явилась некая Тоня Танулина, заявившая, что похоронена в склепе. Мы кинулись к церкви, добыли у кого-то ключи и с замиранием сердца обследовали надписи на плитах, конечно, никакой Танулиной не оказалось, и наша детская вера в духов была поколеблена. В сельце жителей почти не было, только домики причта да усадьба земского начальника. Ходили мы на храмовые праздники в соседние деревни, где

нас всегда зазывали в избы и угощали, но крестьяне жили очень скудно, и есть приходилось из вежливости, чтобы не обидеть: какие-нибудь кислые щи с бараниной и пироги с калиной, очень кислые, почти без сахара. Ходили и в большое село Кемцу, за пять верст, где было почтовое отделение, но почту приносили.

Через речку была перекинута лава, т. е. узкие доски на козлах, сперва казалось страшным переходить таким образом весной довольно бурную речку, потом привыкли, а в обход было далеко, вокруг озера, на котором стояла наша дача. Это озеро было очаровательное, километра два по окружности, правильной овальной формы, точно искусственное. По двум его сторонам шли аллеи из вековых берез. На озере у нас была собственная пристань и купальня, там, где речка впадала в озеро, а потом она опять из него вытекала и уже впадала в большое озеро Кафтино. При даче полагалась лодка, но папа заказал еще вторую, которую мы держали на большом озере, в месте впадения речки была запруда. Папа купил мотор, который устанавливался на корме, мы его перетаскивали через плотину и делали далекие прогулки. Бывало, мотор отказывал, и возвращались уже на веслах, да и вообще он часто капризничал, надо было долго дергать за веревку, чтобы раздалось приятное тук-тук, но удовольствие он доставлял огромное. Часто ездили в женский монастырь на большом озере, где трудились монашки. Хозяйство было образцовое, все делали сами — и пахали, и косили. А таких цветов, как у матери игуменьи в саду, не было ни у кого из помещиков. Всюду сновали фигурки, все в черном, повязанные платками по самые брови, но веселые и приветливые. Были и мастерские, где писали иконы, вышивали, изготавливали красивые бисерные кошельки.

Дом наш был не старинный, просто дача, но добротный, в два этажа. В первом — веранда, на которой обедали в хорошую погоду, затем гостиная с полумягкой мебелью, обитой занятым красным ситцем с китайцами в лодочках и с веслами, столовая, большой папин кабинет с огромным диваном, почти пустой, но прохладный в жаркую погоду, кухня, комната для прислуги, всякие кладовые. Наверх вела деревянная лестница, выходившая в большой холл с громадным встроенным платяным шкафом, в котором можно было не только встать, но и ходить, и пять комнат, так что летом у нас гостило всегда несколько человек родственников и знакомых — бабушка, тетя Саша, семейство дяди Дани, всем места хватало. Были и балкончики, один в нашей с Тамарой комнате с чудесным видом на озеро. В саду находился ледник, всегда заблаговременно набитый льдом. В общем — все блага и все за 100 рублей в лето! К нашему приезду полы бывали намывты, занавески и чехлы выстираны, сразу можно было начинать жить. Там было невероятно много птиц, с непривычки по приезде многоголосый птичий хор будил на рассвете, потом привыкали, в августе же в лунные вечера жутко кричали совы, которых было тоже удивительно много.

В парке стоял еще так называемый красный дом, более старый, чем наш, но немного мрачный, вокруг него была более затейливая часть парка, речка была дамбой отведена в небольшие пруды, с мостиками и заросшими кустами переходами, и с неизбежной беседкой на островке, все следы бывших затей. В этой даче жили генерал Нелидов⁸⁷ и адмирал Бубнов⁸⁸, женатые на сестрах, с большими семействами всех возрастов, от офицеров до кадет. Почему-то вообще вокруг было много адмиралов, на одной из дач жил еще адмирал Гильфердинг, неподалеку было имение адмирала Рейценштейна⁸⁹. С семейством Нелидовых мы очень подружились.

На нашем озерке было еще одно старое имение, мимо которого и шла одна из березовых аллей, с довольно запущенным старым домом с портиком из четырех

деревянных дорических колонн. Папа, очень любивший старину, долго носился с мыслью купить это имение, оно продавалось, и что-то очень недорого, но и таких денег у нас не было. Возможно, это и было основное зерно всего комплекса, во всяком случае, самое старое, начала XIX в.

В поисках старины папа нашел и очень старую деревянную церковь в глухом лесу, совсем еще крепкую, хотя и не действующую, сложенную из громадных бревен. И купол и крест были тоже деревянные. Местные жители считали, что ей 500 лет. Внутри было полное запустение, в углу лежала железная люстра в виде большого обруча с серебряными подсвечниками и подвесками. Ключи были у старосты ближней деревни, но церковь никто не охранял, крошечные окошки были с железными решетками. Папа ее сфотографировал и очень интересовался ее историей.

Во все стороны от имения шли чудесные дороги через поля и леса, заросшие травой, с глубокими колеями от телег, которые оставили на траве следы дегтя, беда была попасть в колею на велосипеде, выбраться уже нельзя было, только упасть.

Как и на всех дачах, родители усердно трудились на участке, хотя и чужом, мама разводила огород, папа проводил новые дорожки в саду и устраивал клумбы, у обоих была большая любовь к земле, хотя никакой земельной собственности они никогда не имели и были людьми городскими. Отец считал, что физический труд на свежем воздухе необходим при умственной работе, да и просто любил работать лопатой. Он даже пытался устраивать теннисные площадки, на которых, конечно, всерьез играть было нельзя. Зато процветала теперь забытая игра в крокет. Играли мы увлеченно, до полной темноты, когда воротца и шары были почти невидимы. Мы умудрялись пройти одним ходом туда и обратно, да еще стукнуться о палку и превратиться в разбойника. В этой игре принимали участие все — и дети, и взрослые.

Папа любил далекие прогулки, причем сперва ходил один и открывал особо живописные места, какой-нибудь ключ в лесу или неизвестное озеро, каких было много, край ведь назывался «Озерный». Но ему нельзя было особенно доверяться, он, видимо, не очень хорошо ориентировался и часто заводил неизвестно куда, особенно, если он выбирал «кратчайшие пути». Любили мы и тихими вечерами ловить окуньков в нашем озере, и любоваться отражением в воде темных куц деревьев вокруг нашей дачи. Папа говорил, что пейзаж совсем как у Беклина⁹⁰ в картине «*Остров мертвых*», он эту картину очень любил.

Возвращение в город всегда было связано с волнениями. Поезд из Рыбинска, на который надо было садиться, проходил ночью и всегда переполненный перед сентябрем. А стоял всего две минуты. Папа всегда просил Н. Л. Щукина⁹¹, директора Женских политехнических курсов, где преподавал и папа, чтобы он распорядился оставить нам купе, он был тогда товарищем министра путей сообщения. И вот поездка ночью на лошадях 12 верст через спящие деревни, где уже не было ни одного огонька, затем станция с подходящим поездом. Мы впахиваемся в вагон с бесчисленными чемоданами, собакой, котом и чудом едем. Рассветает. Папа обращает наше внимание на уютные домики стрелочников, с огородами, полными крутых кочанов капусты, садиками с пышными георгинами, с дымом из трубы. Мы вместе мечтаем жить вот в таком домике. Тут как бы вечное лето, а мы возвращаемся в город. Поезд въезжает в Николаевский вокзал, шумный перрон, бегут носильщики в белых фартуках с бляхами и прямо большущая надпись: «*С. Петербург*». На площади с казавшимся нам тогда уродливым памятником Александру III⁹² нас обступают извозчики, но мы берем ландо⁹³, оно вместительнее, и едем знакомыми улицами: Лиговка,

Разъезжая, Ямская. На лотках всюду арбузы. Знакомые и полузабытые магазины, наконец — наш подъезд. Швейцар Василий выбегает из своей каморки и хватается за вещи. Квартира кажется душной, комнаты точно уменьшились, потом они опять возвращаются к прежним размерам. В открытые окна — стук колес и цоканье копыт. Непривычно звенит телефон, странно вечером включать электричество вместо керосиновых ламп, так просто. И жизнь входит в свою зимнюю колею. Последнее такое возвращение в город из Котлованова было в 1916 г., больше мы на дачу не ездили.

Приведенная в зимний вид наша квартира выглядела, как и большинство квартир интеллигенции среднего достатка, заставленная мебелью конца XIX в. — все мамин приданое. По дореволюционным обычаям, квартира молодых обставлялась только новыми вещами, модными в то время, все было с иголочки — и мебель, и посуда, и белье.

Из большой передней был вход во все комнаты: направо — папин кабинет, в одно окно во двор, гостиная и спальня, по два окна на улицу. Направо была еще дверь в столовую, довольно темную, как обычно в петербургских квартирах, с одним широким окном в дальнем углу; нижние стекла были застелены пестрой бумагой, и внутренняя рама оставалась на зиму не замазанной, чтобы можно было ставить туда продукты. Потом проход в кухню, в проходе стоял большой комод с ящиками для сухих продуктов и еще большой сундук для старых вещей. В кухне была загородка для прислуги и вход на черную лестницу. Окна в кухне были с низкими подоконниками, почему дедушка Лев Николаевич, страшный паникер, велел их заделать поперечными планками, как бы мы не упали с пятого этажа. Передняя перегородивалась большим платяным шкафом, за которым был проход в спальню, уборную и ванную. В проеме двери в столовую вешались качели, и от шкафа было хорошо отгалкиваться ногами. Ванная служила местом заключения, когда мы устраивали очередные скандалы, других наказаний не применяли. В темноте было очень страшно, но нервы быстро успокаивались. Сердобольная Таня обычно тихонько зажигала свет. В ванной мама еженедельно нас мыла; у нас у всех были длинные и густые волосы, и чтобы их хорошо прополоскать, мама выливали на каждую голову 10 кувшинов воды, не обращая внимания на вопли. Сама она ходила в баню и приносила нам оттуда мятных пряничных рыбок.

На всех дверях висели портьеры из одного материала с обивкой мебели, подхваченные шнурами, а в столовой цепями. В гостиной стояли два гарнитура: один, так называемый куганный, с очень мягкими глубокими креслами и диваном, обитыми золотисто-зеленым шелком, на которых было замечательно читать, забравшись с ногами, другая мебель была довольно неудобная, ореховая, с обивкой красно-рыжего цвета, приобретенная позднее. Еще был круглый золоченый столик, мамин письменный столик, большое трюмо в простенке, пианино, совершенно никчемный «трельяж⁹⁴» без зелени. Потом уже был приобретен хорошей работы гостинный стол на львиных лапах из птичьего глаза⁹⁵. На полу лежал хороший ковер в розово-серых тонах. Столовая была обычная дубовая, на стульях сиденья и спинки были из морской травы. Чинили их всегда матросы, которые этот материал привозили из плаванья, забирали дырявые и приносили починенные. Кроме матросов с черного хода приходили сборщики макулатуры от Общества помощи глухонемым,⁹⁶ для них заранее готовились тюки тряпок и бумаг. Иногда заходили татары-старьевщики, которые назывались почему-то князьями, во дворе они громко кричали: «Халат, халат!».

но их услугами пользовалась главным образом прислуга. Приходила раз в неделю торговка фруктами Василиса, очень больная и несчастная женщина: мама ее жалела и покупала только у нее антоновские яблоки, которые нам полагалось есть с утра в постелях.

В спальне стояли традиционные никелированные кровати, которые при чьей-нибудь болезни сдвигались вместе, и так уютно было спать между родителями, а днем можно было на большом пространстве раскладывать игры, книги или разбирать картонки с «мамиными сокровищами»: веерами, перчатками, шарфами и т. д. Любили мы рассматривать сохраняющиеся поздравительные открытки, казавшиеся нам необыкновенно красивыми, особенно полупрозрачные из целлулоида, с кружевными краями, или изображавшие уютные домики в снегу, с окошками, которые светились на свет. В спальне была маленькая мягкая мебель, крытая пестрым розовым кретоном⁹⁷, висел стеклянный голубой фонарь с розовыми цветами. В углу стоял туалетный столик, весь задрапированный по моде того времени тюлем на розовой подкладке, а на нем — голубой фарфоровый туалетный прибор, потом его заменили старинным туалетом красного дерева, и голубой фарфор тоже исчез. Родители начинали интересоваться старинной мебелью, а уже в двадцатые годы оба стали страстными коллекционерами. У папы стоял, правда, и тогда очень хороший секретер красного дерева, это было его приданое, и он им всегда восхищался, внутри он был удивительно гладкий, на ощупь как шелковый, с потайными ящиками. На письменном столе у папы стоял прибор темной бронзы с подсвечниками, поддерживаемыми традиционными гениями. Еще в кабинете был большой диван, на который мы все трое забирались после школы с книжками и горбушками с солью, в ожидании обеда, который подавался в пять часов. По приходе папа нас разгонял и сам ложился отдохнуть на полчаса. В детской все было просто: у окна бывший обеденный стол, крытый черной клеенкой, на окне кретоновая занавесь на кольцах, на черном фоне яркие цветы, не пропускавшая свет. За этой занавеской папа просидел на подоконнике всю мою корь, читая мне вслух *«Таинственный остров»*⁹⁸. Стоял еще бывший пенальный столик, приобретенный для Тани, с поднимающимися крыльями и бортиками, превращенный в туалет, который меня очень шокировал своим необычным видом. У каждого был личный шкафчик с книгами и сокровищами, вроде всяких окаменелостей, найденных на даче, и т. п.

Книг было много и шкафов тоже, и в столовой, и в кабинете. Много было детских книг и переплетенных журналов прошлого века, еще бабушкиных, затем маминых и тетиных, таких как *«Семейные вечера»*⁹⁹ и *«Родник»*¹⁰⁰ за многие годы, которые мы любили перечитывать помногу раз. Много было сказок — Андерсена, Перро, Гауфа, братьев Гримм, русские Афанасьева. Потом появилась неизбежная Чарская¹⁰¹, *«Светлячок»*¹⁰², *«Задушевное слово»*¹⁰³; *«Родник»* был много доброкачественнее. Лучше были книжки Желиховской¹⁰⁴ — *«Детство»* и *«Отрочество»*, Лукашевич¹⁰⁵, Лухмановой¹⁰⁶. С удовольствием вспоминаются переводные книги, такие как Олькотт — *«Маленькие женщины»* и *«Маленькие мужчины»*, *«Под сиренями»*, *«Семь братьев и сестра»*, *«Старосветская девушка»*¹⁰⁷, Весерель — *«Квичи»* и *«Обширный мир»*, в последнем были невыносимы бесконечные религиозные поучения и цитаты из Библии, но если все это пропускать, что мы и делали, то читалось с интересом. Потом перешли на классиков. Очень увлекались Диккенсом, особенно *«Пиквикским клубом»*, любимой вещью отца. Папа также привил нам любовь к Гоголю, его любимому писателю, которого часто читал вслух.

Увлекались и Жюль Верном. Вальтер Скоттом нас никак нельзя было заинтересовать, может быть, потому, что он был у нас во французском переводе и нам было просто трудно читать. Читал его один папа и восхищался гравюрами; особенно он любил *«Приключения лорда Найжеля»*¹⁰⁸, малоизвестный роман Вальтера Скотта. Было большое издание Шекспира *«Брокгауза и Эфрона»* с иллюстрациями. Особое значение имел Пушкин в издании под редакцией Венгерова¹⁰⁹, можно сказать, что все знание и любовь к Пушкину мы получили благодаря этому изданию. Почву к знанию Пушкина подготовила и повесть Авенариуса¹¹⁰ *«Детские и отроческие годы Пушкина»*, печатавшаяся в *«Роднике»*.

Вообще в нашем доме читали много, и родителей было трудно себе представить без книги. Читали на ночь, и эту не совсем полезную привычку передали детям, да и не очень с ней боролись. Любили читать и за едой, если кто завтракал или обедал в одиночку, то обязательно с книгой. Мама была больше всего в этом повинна, но она извиняла это тем, что в другое время ей некогда. В детстве нам много читали вслух, но мы очень быстро выучились читать сами. Таня читала с пяти лет, а уже в восемь поглощала Чарскую в неограниченных количествах. Когда мы как старшие дразнили ее этим пристрастием, уже понимая, что это не совсем подходящее чтение, она говорила: **«Ну, значит, я сентиментальна, раз мне это нравится»**. Чарскую нам не запрещали, хотя и не рекомендовали, считая, что как ни запрещай, от подруг она все равно придет, а потом сами разберемся, что хорошо, что плохо.

Папины книги трогать было нельзя, и он сам выдавал, что считал нужным. Както он дал мне читать, уже почти взрослой, трилогию Мережковского¹¹¹, и в части *«Леонардо да Винчи»* были сколоты несколько страниц и написано: **«Не читать!»**. Мне и в голову не могло прийти послушаться, и я до сих пор не знаю, что там было.

Папа читал и писал свободно по-немецки и по-французски, мама знала хорошо и английский. Когда папа подготавливал свои статьи к переводу, он надписывал над всеми специальными терминами их значение на иностранном языке, и потом только передавал переводчику. Он хорошо знал латынь и греческий и классическую литературу. В своей автобиографии он писал: **«Я получил гуманитарное образование, которое если непосредственно и не касается изобретательской деятельности, тем не менее, развивая в человеке способность мыслить образами, по моему мнению, весьма способствует развитию изобретательской деятельности и фантазии»**¹¹².

Очень он уговаривал меня прочесть по-итальянски *«Обрученные»* Манцони¹¹³, со словарем, чтобы таким образом выучить язык, но я осилила только несколько первых страниц, сам же он прочел всю книгу и очень хвалил.

В гостиной на столе лежали большие папки с репродукциями картин Третьяковской галереи, и мы их постоянно рассматривали, так что художественное воспитание наше началось с передвижников.

В гостиной и столовой на стенах висели картины, главным образом папиного приятеля художника Иллариона Илатонцева, папа познакомился с ним на кумысе в Заволжье, откуда тот был родом, и очень ему покровительствовал. Среди них был папин портрет в рост и другой — сидя, девушка в войлочной шляпе, старик калмык и др., в общем, средняя живопись Академии художеств того времени, как я сейчас думаю. Илатонцев у нас обычно обедал по воскресеньям, пока был холостой. Както он заинтересовался моими детскими рисунками, сказал: **«В ней что-то есть»** — и в следующий раз принес мне альбом и три акварельные краски, красную, желтую и синюю, приклеил их на края тарелки, взял кисть и воду и, к моему восторгу, изобра-

зил несколько пейзажей, с этого началось мое практическое знакомство с живописью. Часто бывал у нас и другой художник, Глеб Федорович Воропонов¹¹⁴, необыкновенно восторженный фантазер с сияющими глазами. Он устраивал себе время от времени сорокадневные посты, когда пил только воду, и уверял, что никогда себя лучше не чувствует, что мысль в это время работает замечательно. Жена его тоже была художницей, и написанные ею персики мне очень нравились. Третьим воскресным посетителем был красивый, уютный старик, с белоснежной бородой и голубыми глазами. Он где-то служил и жил один в меблированных комнатах, а жена его с пасынком, папиным товарищем физиком Игнатовским¹¹⁵, всегда жила за границей. Мама очень любила угощать Михаила Михайловича, он очень ценил ее стряпню, для него подавалась и закуска, папа тоже тогда выпивал одну рюмку, хотя вообще у нас водка в доме не водилась, папа иногда за обедом пил свое любимое белое вино — рислинг. На Пасху, Новый Год и другие торжественные дни Михаил Михайлович присылал великолепные корзины цветов и громадные торты в виде рогов изобилия. Перед революцией он умер, и как-то не хватало его еженедельных посещений.

Бывали у нас родственники и папины физики. Не из физиков папа дружил с Я. Тикстоном, по происхождению англичанином, до женитьбы он жил с ним вместе в меблированных комнатах. Что их связывало, я не знаю, но папа, видимо, его любил, был с ним на «ты» и называл Яшей. Он занимался какой-то коммерческой деятельностью, потом уехал за границу, и связь с ним порвалась. Я помню, как он раз приехал к нам на дачу в Тюрсель, и они с папой забавлялись, перекидывая друг другу мяч через крышу, а мы их судили.

Из физиков особенно близок был папа с Б. П. Вейнбергом¹¹⁶, сыном поэта, и В. Либединским. Бывал еще Терешин¹¹⁷ с красивой женой армянского происхождения, они после революции уехали в Америку. Папа любил гостей, хотя никогда не был, что называется, душой общества, он говорил мало и, скорее, поддерживал разговор.

Перед замужеством мама окончила кулинарные курсы Гунст¹¹⁸, изданные записки этой школы сохранились у нас до сих пор, написанные смешным языком, полные непонятных терминов, видимо, записывавшиеся со слов шеф-повара, но очень полезные. Когда собирались гости, мама блистала своим майонезом с омарами, заливным из рябчиков, судаком орли, волованами. Консервов тогда было мало, самые обычные сардины, кильки. Подавался любимый папин сыр «бри», почти жидкий, в треугольных лубяных коробочках. Мы к нему не притрагивались, ели швейцарский. Еще покупался в торжественных случаях страсбургский паштет, вкуса я не помню, помню только маленькие красивые керамические формочки кремового цвета, в них потом ставили простоквашу. Летом мама делала свой знаменитый раковый суп, которым обедались наши дяди. В день своих именин, 2 мая, папа собственноручно покупал ананас, это была большая трата, доступная раз в году, появлялись они весной, так же как и спаржа, а артишоки осенью. Как все это доставлялось при отсутствии тогда самолетов — непонятно, но транспортировались даже цветы, доходившие совершенно свежими — розы, фиалки, мимоза. На цветочных магазинах появлялись объявления: получены цветы из Ниццы. Зато в городе не было никаких цветников, а чтобы в Петербурге цвели в грунте розы — этому бы тогда никто не поверил.

Мы со взрослыми гостями никогда не ужинали, а пили свое обычное кипяченое молоко с кусочком шоколада «Гала Петер». Так же, как и молоко, кипятили и воду,

фрукты ошпаривали кипятком, всегда была опасность холеры, которая вспыхивала осенью, иногда с единичными случаями, но ее всегда ждали и боялись. Невская вода плохо очищалась, и мы бы очень удивились, что теперь ее можно пить сырой.

Мама была прекрасной хозяйкой и любила все делать сама, да и прислугой у нас были самые простые деревенские девушки, которых приходилось учить всему. Мама вообще любила оставаться без всякого обслуживания, и периоды междуцарствий ее никогда не тяготили, она чувствовала себя свободной.

Сейчас кажется, что жизнь в смысле быта была очень тяжелой. Мы не имели тогда ни газа, ни горячей воды, ни пылесосов, ни центрального отопления, ни холодильников, надо было топить ежедневно пять печей, да еще ванную колонку, да плиту, которую топили каждый день, а иногда и два раза в день, обед ежедневно готовился свежий, кто бы стал есть подогретые котлеты или вчерашний суп!

В некотором смысле жизнь была сложнее, требования к комфорту были выше. На стол к обеду и завтраку накрывали по всем правилам и всегда в столовой, с белой скатертью и салфетками, у нас не выкладывали большого количества ножей и вилок, так как обед был только из трех блюд, но с обязательным сладким. Часто во дворе раздавался крик: «Мороженое!» Прислуга с тарелкой посылалась вниз с поручением купить шарики всех сортов: сливочные, малиновые, ореховые, зеленые фисташковые, очень вкусные.

Чай пили из самовара, который не так-то просто было ставить, потом дело упростилось, и самовары заменились спиртовками, горевшими синим пламенем под чайниками и кофейниками тут же на столе в столовой. Кофейники были очень сложные, автоматически переливавшие воду или даже переворачивавшиеся при закипании. Электроплитки появились только перед революцией, сперва были просто спирали, которые опускались в стакан или кастрюлю с водой, где можно было сварить яйца. Еда подогревалась на керосинках, потом вытесненных примусами, которым долго не доверяли: а вдруг взорвется. Керосинки, правда, разводили иногда ужасную копоть, но было спокойнее.

Но зато в смысле продуктов было просто: все, что захочешь, покупалось без труда, и прекрасного качества. Осенью отправлялись в Гвардейское экономическое общество¹¹⁹, сперва оно было на Литейном, потом выстроили большое здание на Б. Конюшенной (теперь ДЛТ), там можно было получить все решительно, и мы ходили из отдела в отдел, заказывая сухие продукты на всю зиму на пай дяди Пети. Члены Общества даже получали какой-то доход. Все присылалось на дом. Скоро открылся и второй зал с мануфактурным, канцелярским, галантерейным, обувным и не знаю еще с какими отделами. Был прекрасный ресторан, где мы закусывали и отдыхали.

Да и вокруг дома была масса магазинов. По сложившейся традиции, все покупалось в определенных магазинах, где покупателей уже знали. Так, кофе и чай мы покупали в магазине братьев Перловых на Разъезжей¹²⁰, где ароматно пахло различными сортами чая и кофе и был очень любезный старший приказчик с бакенбардами, мне он казался персонажем из Диккенса. Вечером нас, детей, посылали в пекарню на углу Загородного и Разъезжей за горячими бубликами, там пекли только бублики. А черный хлеб покупали в магазине «Рожь» на Владимирском, там были ржаные хлебы всех размеров — от крошечных пятикопеечных до больших караваев, пахло там свежим хлебом изумительно. У Филиппова¹²¹ на Невском, угол Троицкой¹²², покупались знаменитые калачи, туда мы детьми особенно любили ходить

из-за замечательных горячих жареных пирожков, которые ели тут же. Колбасные изделия покупались в облюбованной колбасной на Пушкинской¹²³, там мы покупали так называемый «нарез» из всевозможной колбасы, нарезанной тончайшими лепестками по кусочку каждого сорта, особенно славилась здесь колбаса из молодого поросенка с черными кусочками трюфелей. Хозяин в заднем помещении сам делал колбасы, хозяйка, толстая немка, сидела за кассой, а дочка нарезала и взвешивала. А каких только булок не было в нашей ближайшей булочной — и сайки, печенье на соломе, следы которой были видны на нижней поверхности, и розанчики, и плюшки, и рогульки с маком! У нас к утреннему кофе подавались всегда небольшие французские батоны, очень закаленные и немного соленые. Вероятно, булочные открывались очень рано, к нашему вставанию булки были уже куплены. Характерна была на улице утром фигурка тоненькой горничной, в черном платье, белом передничке и наколочке, перебегающая улицу в булочную, и обязательно в любую стужу без пальто, а только завернутая в пледовый большой платок, это был, видимо, особый шик. Вообще хлеб был очень хорош, даже большие караваи в мелочных лавках или там же ситный белый с изюмом.

Теперь совсем забыли пеклеванные хлебцы, или маленькие сепики, или выборгские крендели, которые продавались прямо на улице в корзинах. А уж о разнообразии пирожных нечего и говорить, каждая кондитерская славилась каким-нибудь сортом, как на Караванной — пирожными с тертыми каштанами, или у Иванова¹²⁴ около Мариинского театра — земляничными тортами. Мы любили маленькую уютную кондитерскую на Ивановской против Ямской, где всегда были высоченные баумкухены, пумперникели и черные прянички с миндалем, все это тут же пеклось. А если хотели русских медовых пряников, шли к Абрамову на Литейный¹²⁵, где сильно пахло медом. Старожилы, верно, помнят и магазин Прохорова на Казанской с киевским сухим вареньем, малиновыми смоквами, яблочной пастилой. Там бывал и сухой борщ, которым мы не гнушались, пока не появлялись свежие овощи. А абрикосовый пат у Абрикосова¹²⁶, на котором он, говорят, нажил себе состояние, так и помнишь его в больших плоских ящиках, уложенным рядами чудного оранжевого цвета, засыпанным сахарной пудрой. И все делалось на чистых натуральных соках, даже самое простое монпансье и постный сахар, или дешевые леденцы Ландрина. Много продавалось прямо на улице. Селедки мама всегда покупала у знакомого селедочника, стоявшего с бочонком на углу нашей улицы, и селедки были великолепные. На лотках же продавались отваренные сушеные груши и в стеклянных кувшинах темно-коричневая жидкость; вероятно, отвар из них, нам ужасно хотелось попробовать и того и другого, но не позволялось. Зато мы покупали большие, твердые, коричневые стручки, назывались они турецкими. После революции пошло повальное увлечение подсолнухами, шелухой от них был буквально усыпан весь город. Мама их любила, мы тоже, но папа презирал. Как-то раз, это было уже на юге, мы сидели вечером у большого стола, каждый со своей книгой, и увлеченно щелкали жареные семечки, и у каждого быстро росла кучка шелухи. Папа не выдержал и демонстративно вышел в другую комнату: «Фу, точно в зверинце!».

Ходили мы и по магазинам не только съестным, но и другим, а в дореволюционное время это было удовольствие, были бы деньги. Дореволюционные преподаватели высших учебных заведений и даже профессора жили скромно, так и мы. Папина забота была дать деньги на хозяйство, а как их истратить — было мамино дело, и делала она это очень разумно, записывала все расходы и из бюджета не выходила. В старое время

дороги были квартиры, как тогда считалось, цена квартиры — это треть бюджета, наша, например, стоила 90 р. в месяц без дров, это было дорого¹²⁷. Солидный расход была также плата за обучение, у нас на троих это была солидная сумма. Я училась в немецкой школе при церкви св. Петра, а сестры — в гимназии Стоюниной¹²⁸ на Кабинетской улице, стоюнинок все знали по небесно-голубым халатикам.

Вещами нас не баловали, покупалось самое необходимое, но любоваться на красивые вещи в витринах можно было вволю. Витрины не носили чисто декоративного характера, как теперь, а выставлялось только то, что имелось в магазине, цель их была заманить и соблазнить покупателя, хозяева и продавцы в магазине тоже старались быть возможно любезнее, чтобы покупатель не ушел с пустыми руками. Если спрашивали материю, то на прилавок выворачивалось все, что имелось, самое интересное, разворачивали один рулон за другим, так что глаза разбегались.

Папа знал толк в вещах и денег не жалел, экономила мама и старалась и нас, и себя одеть возможно дешевле. Раз папа мне купил чудесное синее осеннее пальто в дорогом детском магазине Духновской и серую велюровую шляпу, мама бы это ни за что не купила, но зато я пронесла его очень долго; папа действовал по принципу: **«Мы слишком бедны, чтобы покупать дешевые вещи»**. Перчатки он нам дарил от Книжке (у Николаевского вокзала)¹²⁹, кожаные вещи — от Бехли (угол Мойки и Невского)¹³⁰. Заходили в магазин «Александр», там сейчас обувной магазин, где было много соблазнительного. В более ранние годы нашим детским раем был магазин игрушек Дойникова в Гостином дворе, а также магазин Петона на Караванной¹³¹, специализировавшийся на всяких играх и занятиях; там были аппараты для выжигания, деревянные рамочки и шкатулки к ним, глиняные вазочки и блюда с нанесенным рисунком для расписывания эмалевыми красками, наборы для выпиливания и т. п., все, вероятно, малохудожественное, но приучавшее детей к усидчивой работе. В специальных магазинах можно было купить образцы для вышивания по канве и сукну, вместе с наборами шелков и шерсти, это все нам щедро покупалось.

А когда хотелось художественного, тогда шли в магазин Дациаро на Морской¹³², где было все для художников — кисти, краски, альбомы, карандаши, всяческая бумага, а также эстампы, рамы для картин, художественные открытки, репродукции, все больше заграничные.

Но в школьные годы нас вполне удовлетворяли и простые канцелярские магазины, соблазнов там было достаточно. И разнообразные наборы бумаги для писем, и альбомы для стихов, необходимая принадлежность всякой гимназистки, и пеналы, и мягчайшие резинки — зайчики и слоники, и перья десятков сортов, и клякспапир нежнейших цветов, и картинки и облатки для прикрепления к ним ленточек. Осенью мы совершали походы в эти магазины, чтобы запастись всем необходимым на новый учебный год. Затем покупались учебники, для моей немецкой школы в магазине Излера¹³³ на Невском проспекте у Конюшенной, который заранее выписывал из Германии все необходимое, или можно было сделать заказ и очень скоро все получить. В книжные магазины за художественной литературой мы не ходили, или редко, книги обычно дарились или брались на обмен у подруг, да и дома их было больше чем достаточно. Помнится магазин Вольфа¹³⁴ на Невском, где всегда на самом видном месте лежали новые произведения Чарской в роскошных переплетках с золотом.

В самом раннем детстве мы любили витринку маленькой табачной лавочки в угловом доме на Ямской, нас от нее оторвать нельзя было, особенно перед Рождеством, когда появлялись елочные украшения, мало изменившиеся и теперь, блестя-

щие шары, шишки, цепи, дождь, те же Деда Морозы. Здесь можно было купить гофрированную бумагу для изготовления цветов, переводные картинки, а также особые китайские или японские комочки, которые, если бросить их в кипяток, распускались в удивительные цветы.

Любили мы застывать и перед большими гастрономическими магазинами, не потому, что были голодны, а просто было красиво. И все подлинное, никаких муляжей! Какие торты с цветами и фруктами из крема и карамели, правда, не очень вкусные! Перед Пасхой появлялись барашки из масла с золотыми рогами. Были вещи, которые и у нас покупались редко, только для гостей, например, черная икра или балык, мы сами с аппетитом ели красную. До сих пор не знаю, что это были за предметы, очень меня интриговавшие, часто лежавшие на витринах гастрономов: овоидальной формы¹³⁵, сливочного цвета, блестящие, как будто покрытые желе, с черным кусочком наверху. Почему я не попросила это купить и тем удовлетворить мое любопытство — не знаю, но нам строго было запрещено кланяться в магазинах.

У нас было счастливое детство, счастливым был, вероятно, и брак моих родителей. Мать с отцом были хорошей парой, мама была очень привлекательна в молодости, папа был изящным, стройным блондином с темными глазами, очень элегантный. Но впоследствии папа, может быть, слишком погрузился в свою работу, а мама всецело отдалась семейным заботам, детям, ведению дома, во что папа совершенно не вмешивался, предоставляя ей править всем, что вполне соответствовало ее несколько властному характеру. Так что как-то у них у каждого была своя жизнь. Мама скоро и думать забыла о своей наружности, да и по природе она была лишена всякого кокетства, желания нравиться. Она была «мама». Ей было все равно, что надеть, она могла, не посмотрев в зеркало, выйти на улицу в косо надетой шляпе. Папины научные интересы она уважала, но разделять не могла, да и образование у нее было гуманитарное. Папа же очень следил за своей внешностью, был даже франтом, шил костюмы у лучшего портного, всегда в белоснежной крахмальной рубашке. Наши слуги с гордостью говорили: наш барин каждый день меняет рубашку, это им прибавляло работы, но внушало уважение. Он всегда был одет с утра, никогда мы его не видели без пиджака или галстука, халата и в заводе не было. Утром слышался шум льющейся воды из ванной, это папа наполнял себе ванну водой из холодного крана. Если мама наполняла ему ванну с вечера, он сердился и выпускал воду. Затем он намыливался и с шумом нырял. Потом слышался визг резины гимнастического аппарата из кабинета, или последовательность была другая, я уже не помню. Потом папа разгуливал в специальных надусниках, чтобы придать усам должное направление. Волосы он носил ежиком, затем, когда они несколько поредели, или мода на ежик прошла, он стал носить волосы на пробор, но не полысел до старости.

Объединяли их, конечно, дети. Папа был любящим отцом, а про маму и говорить нечего, хотя нежностей, поцелуев и ласковых слов у нас не водилось. Одна родственница недавно вспоминала, как на обычных сборищах у бабушки появлялась гордая, торжествующая Ася со своим весьма привлекательным выводком, и сразу садилась за шитье очередных штанишек, праздной она не могла быть ни минуты.

Центром дома была мама. Приходя из школы, мы все трое совершенно одинаковым тоном спрашивали: «**Мама дома?**». И когда ее дома не оказывалось, становилось как-то пусто, неуютно, хотя мама в данный момент была и не нужна. Причем мама нас баловала гораздо меньше отца, а наказывала гораздо чаще, вернее, отец нас

вовсе не наказывал. Наоборот, когда мы плакали после наказания, он заговорщически подмигивал и шептал: «Не плачь, не плачь, в кино пойдем».

Я любила свое детство и сознательно не хотела расти, пять лет мне уже казалось много, а о семи-восьми страшно было и думать. Я ужасалась, думая, что вот я сейчас сижу на коленях у бабушки, а скоро уже не смогу. Мучил и страх лишиться матери, отец почему-то казался мне менее уязвимым, и потом была привычка к его отсутствию большую часть дня, но когда приходилось оставаться без матери, охватывала гнетущая тоска. И никто ее заменить не мог — ни бабушка, ни няня. И это чувство невозможности существовать без нее осталось на всю жизнь. Помню ужасно тоскливые дни, когда раз мама уехала с дачи в город искать новую квартиру и оставила нас с няней, которую мы очень любили, особенная тоска наваливалась вечером, когда за окнами темнело. Квартира на Ямской улице была тогда снята, что не оставило труда, летом на многих окнах доходных домов висели билетики о сдаче квартир, оставалось только выбирать. Многие вообще весной оставляли свои квартиры, чтобы не оплачивать летние месяцы, вещи ставили на склад и переселялись на дачу, а осенью снимали новую.

В раннем детстве я помню родителей, вместе отправлявшихся куда-нибудь на званый вечер или в театр, мама — в голубом муаровом платье, но закрытом по самые уши, папа — во фраке, причем мы всегда просили: «Папа, сделай муху», и он наклонялся, приподнимал руками фалды фрака и жужжал, а мы помирали со смеху. Затем мама накидывала ротонду на лисьем меху, на голову надевала вязаный капор, чтобы не испортить прическу, и они уезжали. Раз помню их в маскарадных костюмах, мама была пастушкой в большой соломенной шляпе с маками, а папа — гусаром. Ходили они и на каток, папа хорошо катался, мог танцевать вальс и кататься «голландским шагом». Когда мы сами стали кататься, никогда не могли превзойти его в этом искусстве, он с нами ходил на каток по воскресеньям, каток был близко, на Фонтанке, у Аничкова моста.

Ходили мы с ним и в кино, которое он очень любил. Можно сказать, я выросла вместе с кино. Первое мое знакомство с кино оказалось сильным шоком, я страшно испугалась и была ревущей вынесена из зала. До сих пор помню впечатление темноты в зале и шевелящегося потолка, так я восприняла экран. Мне было пять лет, вероятно, но я быстро привыкла, и мы с папой ходили на все фильмы, тогда еще смешно дергавшиеся, с Максом Линдером, Пат и Паташоном, невозмутимым Гарольдом Ллойдом и пр., а потом и с Чаплиным. С захватывающим интересом смотрели длинные ковбойские фильмы в нескольких сериях, где герой прыгал с лошади на крышу вагона идущего поезда, спасая обаятельную героиню, которая и в воде не тонула, и в огне не горела. В программе были и видовые фильмы. Сентиментальные фильмы с Мозжухиным и Верой Холодной¹³⁶ я не помню, вероятно, на них папа нас не водил.

Самый первый кинотеатр был, по-моему, где-то на М. Конюшенной, а затем их стало много. Мы любили ходить в «Мулен Руж» на Невском¹³⁷, с большой рекламной мельницей с крыльями. Перерывов между сеансами не было, опоздав, можно было программу посмотреть сначала или вообще второй раз.

Среди воскресных увлечений детских лет надо вспомнить и о посещениях папиной лаборатории в Константиновском артиллерийском училище¹³⁸, где он был полным хозяином. Физический кабинет, полный приборов на больших столах, представлял собой целую анфиладу комнат с отдельным входом. Администрацией училища

отпускались значительные средства на их пополнение, и папа мог выписывать из-за границы все, что считал необходимым; лекций было мало, и он мог спокойно работать и для себя. Немудрено, что он держался за училище, дававшее ему такие возможности. В особой комнате он ставил свои опыты по телевидению. Мы охотно туда ходили, гуляли в большом саду или играли со всякими предметами, особенно любили большой магнит, на который навешивали целые гирлянды металлических предметов, возились с ртутью, катая шарики на столе и собирая их в блестящие лужицы. Возможно, таким образом папа хотел исподволь приохотить нас к физике, показывая несложные опыты.

Показывал он нам и свои достижения по телевидению; к нему тогда, т. е. в 1911 г., приезжало много иностранцев, и он всегда рассказывал нам, кто был и что говорили. Я смутно помню сложную установку и изображение решетки на экране¹³⁹, но, конечно, значения происходящего не понимала, младшие сестры еще меньше. В этом деле папа в семье был одинок, не с кем ему было поделиться своими замыслами, мама была такой же профан, как и мы, дети. Немудрено, что с годами он все больше замыкался в себе, погружался в свои мысли, часто бывал рассеян. Постоянным спутником была у него записная книжка, даже во время обеда он постоянно ее вынимал и что-то записывал. Этих книжек после него осталось много, своего рода научные дневники, все они были пронумерованы, часть из них сохранилась, часть пропала.

Развлечения и «повышение культурного уровня» шли от папы. Вечерами он часто брал нас на длинные прогулки по городу. По Литейному мы выходили на Неву и шли по набережным, разглядывая дворцы и особняки, сверяясь с книжкой Курбатова «*Петербург*»¹⁴⁰, вышедшей в то время. Раз на Дворцовой набережной папа показал мне ярко освещенный подъезд, за которым шел широкий проход с ковром: «**Вот это знаменитый английский клуб, где бывал Пушкин**»¹⁴¹. В нашем районе папе очень нравился особняк в Кузнечном переулке с барельефами. Осенью мы ходили на Каменный остров «шуршать листьями», а весной — на Елагин слушать хор лягушек.

Бывали на лекциях по искусству Курбатова в Тенишевском училище¹⁴², на выставках «*Мир искусства*»¹⁴³ и других, в музее Александра III¹⁴⁴ и, конечно, в Эрмитаже. До революции там было пусто и тихо, особенно в залах античного и египетского искусства, темноватых и мрачных. Бывали на публичных лекциях в зале Городской думы, помню лекцию Мережковского на тему «*Тургенев как гений меры и гений культуры*». Мережковский оказался маленьким и невзрачным и не говорил, а декламировал нараспев.

Папа брал меня часто на концерты «любителей камерной музыки», где в ансамблях играл на скрипке его знакомый физик Гезехус¹⁴⁵. Папа любил музыку, очень любил — и уже юношей выучился — играть на рояле, с кем он занимался, я не знаю. Со свойственным ему упорством он достиг неплохих результатов и играл по воскресеньям регулярно два часа и довольно трудные вещи, Шопена, Грига, которого особенно любил. Когда мы были маленькие, то пели под его аккомпанемент детские песенки Чайковского и моего деда Василия Васильевича, также «*Дуэт игрушек*» из модной тогда оперетты «*Гейша*»¹⁴⁶.

Вот как вспоминает о папином музицировании его племянница, Вера Иосифовна Алексеева:

Помню мою первую встречу с дядей Борей. Уютная гостиная. Нас (меня и маму) встретила тетя Ася, потом появились ты и Тamarочка. Одна черненькая, а другая беленькая. Распахнулась

портьера, и вышел к нам дядя Боря. По фотографии я знала и его, и тетю Асю. Ну, дальше разговоры о том, о сем, потом обед в столовой за большим столом. После обеда перешли опять в гостиную. В то время во мне было еще много робости, я еще твердо помнила одну из многих “заповедей” домашнего воспитания: *«Когда разговаривают старшие, нужно молчать, в разговор не вмешиваться»*. Я только отвечала на вопросы, которые были обращены непосредственно ко мне, смотрела фотографии в семейном альбоме. Второй раз я ходила к дяде Боре с Христюшей. Помню, пили чай, потом просили Христюшу поиграть (в гостиной было пианино). Она, по обыкновению, долго отказывалась, потом все же играла. Когда она кончила играть, совершенно неожиданно для меня сел играть дядя Боря и, если не ошибаюсь, он сыграл *«Сентиментальный вальс»* Чайковского. Я не думала тогда, что такой «умный, ученый человек», каким был в моем представлении дядя Боря, может совмещать науку с музыкой.

Ездили смотреть и первые полеты аэропланов, куда-то очень далеко, вероятно, в Келомяги¹⁴⁷. Большею частью это было томительное ожидание взлета какой-нибудь хрупкой этажерки. Однажды осенью такое стояние на ветру чуть не окончилось трагически — папа схватил сильнейшее крупозное воспаление легких. Помню жуткую ночь кризиса с папиным непрерывным кашлем и мамой у телефона, пытающуюся дозвониться до дяди Пети: *«Барышня, позвоните подольше»*. Квартира у дяди была большая, и телефона никто не слышал. Но все же дозвонились, и дядя приехал среди ночи.

Немалым развлечением детства были вербные базары. Самый ближний был на Боровой улице рядом с рынком, этот мы посещали с няней, вероятно, всю неделю почти ежедневно, и наслаждались криками мальчишек, зазывными голосами торговцев, трескотней «тещиных языков». Возвращались с сокровищами в виде американских жителей и маленьких обезьянок из синели¹⁴⁸ всех цветов, которая с тарелками, которая с веером, но у всех глазки-бусинки. Покупали еще золотых рыбок, но они были недолговечны; меня долго соблазняла лягушка-барометр, сидящая в банке с лесенкой, но мечта не осуществилась, денег нам давали немного и хватало только на мелкие покупки да на вафли, тут же пекшиеся, хрустящие, свернутые трубкой, с какой-то сахарной начинкой. Большой базар был на Конногвардейском бульваре, но туда мы ходили только с папой. И в школьные годы вербный базар имел притягательную силу — возвращаясь из школы, никак нельзя было не поболтать на базаре на Конюшенной улице.

На стороне рынка по Боровой улице была постоянная продажа лубочных картин из Священного писания, которые привлекали детское внимание, особенно хотелось с жутким чувством рассматривать изображение Страшного суда, с мертвецами, встающими из гробов, страшным сатаной и черно-зеленым змием громадными кольцами.

На углу Боровой и Разъезжей была часовенка подворья Александра Свирского¹⁴⁹. В ней всегда горели свечи перед образами, а снаружи была поставлена чаша со святой водой и с плавающим в ней ковшиком. Из этого ковшика няня нас обязательно поила, когда мы проходили мимо, конечно, без ведома родителей. На морозе вода была обжигающе холодная, необыкновенно вкусная, но мы не простужались, хотя я была страшная мерзлячка и всегда мерзла на прогулках. А зимнее одеяние было у нас сложное: гамаши, суконные ботинки на резине, плюшевые шубки, такие же капоры, еще заматывали нам шеи шарфами.

Необходимой принадлежностью счастливого детства была елка на Рождество. У нас она всегда устраивалась в сочельник, и организатором всегда был папа, который с утра запирался в гостиной и священнодействовал над украшением большой

елки до потолка. Когда мы уже достаточно подросли, нам было разрешено самим украсить елку, и когда мы с этим делом справились за какой-то час или два, папа искренне возмутился и забраковал нашу работу.

С утра приходила тетя Лиза и приводила в порядок наши куклы и их квартиры, все на них стиралось и гладилося, волосы расчесывались и завивались. Одна кукла у меня была замечательная, собственно не сама, довольно некрасивая, и даже не с фарфоровой головой, а мастиковой, а ее туалет: платье из старинного полосатого шелка, серого с синим, и шитое во всех деталях по моде семидесятых годов, с турнюром и подборами. К шести привозили знакомых детей, двери распахивались, и елка являлась во всей красе, вся в огнях. Папа ведал и развлечением гостей. Раз он явился Дедом Морозом с большим мешком за спиной, полным подарков, в другой раз — медведем. У нас был медведь-ковер с головой и лапами; папа надел его голову на свою, закрыв ею лицо, просунул лапы в рукава пальто и так явился, тоже с мешком, и даже рычал. Получилось уж слишком натурально, кое-кто пустился в рев. Еще как-то устроил живые картины: фея Луны (я) стояла на возвышении, задрапированном голубой марлей, в серпе луны из картона, оклеенного серебряной бумагой, сама тоже в голубой марле. Другая картина представляла спящую красавицу — Тамару, с принцем, стоящим на одном колене, и маленьким карликом с фонариком. Все это освещалось бенгальскими огнями. Подарки всем детям раздавались одинаковые. Раз вышел конфуз, когда у приготовленных пряничных кошек Тамара втихомолку отъела все ушки. Угощение ставилось рождественское, традиционное: на подносах орехи всех сортов, в том числе наши любимые, американские, в виде долек апельсина со скорлупой черного цвета (теперь они совсем исчезли, и их почти не помнят), веточки синего изюма, финики, винные ягоды, разные пряники и леденцы. Затем детей увозили, взрослые садились ужинать, а мы уходили спать в предвкушении следующего утра, когда мы, чуть проснувшись, в ночных рубашках устремлялись в гостиную к елке, где уже были разложены подарки от родителей и родственников, мои — в правом углу, Тамарины — слева, Танины — посередине. Предварительно мы писали длинные списки с желаниями. Большей частью желания удовлетворялись, дарителей такая система вполне устраивала, не надо было ломать голову, что дарить, у них ведь все есть!

Затем почти ежедневные поездки в течение двух недель на елки к знакомым и родным. Обычно стояли сильные морозы, и нас возили на извозчиках, закутанных, как кули. А в окнах сияли елки. Я была застенчива и на чужих елках, за редким исключением, скучала.

Торжественно проходила Пасха. На вербной неделе мы говели, это с мамой, в домовом церкви Первой мужской гимназии. Почти не освещенная церковь, тишина, очередь из дам и детей к ширмочке, за которой слышен взволнованный шепот и тихий голос священника: «**Аз, смиренный иерей, властью, мне от Господа Бога данной**» и идет следующий, наконец и моя очередь, с замиранием сердца выкладываю свои немудреные грехи, потом священник читает молитву, закрывая мне голову эпитрахилью, и охватывает такое чувство облегчения! Вечером едим все постное, а утром — ничего. Надеваем полный парад, все белое, и отправляемся к причастию. Прихожане в этой церкви были богатые — собственные экипажи стоят у подъезда, лакеи в вестибюле держат шубы своих господ; мы просто свою верхнюю одежду складываем на скамейку. Особенно нарядно выглядели старые дамы, все в белом или светло-сером, сверкая бриллиантами. С трепетом проглатываешь причастие с

золоченой ложечки и запиваешь теплым вином с водой из маленького ковшичка, которых множество стоит на подносе. Брали домой просфору и съедали ее перед завтраком. И в школу в этот день не ходили законно — были у причастия.

А на Страстной весь дом переворачивался вверх дном — все обметалось, натиралось, фарфор перемывался, серебро чистилось нашатырем с мелом. В четверг ходили на двенадцать евангелий, которые трудно было все выстоять, сесть не разрешалось, разве что очень старым людям. Домой шли с зажженными свечами в особых фарфоровых держалочках, и от донесенного огонька зажигали свечи перед образами, которые у нас были во всех комнатах в правых углах, лампадки зажигались только перед Пасхой. Затем в пятницу и субботу пеклись куличи, варилась пасха, красились яйца мраморными бумажками, это было наше дело, запекался большой окорок в ржаном тесте, тесто пропитывалось жиром и было очень вкусное, пока горячее. Когда мы были малы, к заутрене нас не брали, мы ложились, как обычно, спать, а родители, вернувшись, нас будили. Очень хотелось спать, но не было случая, чтобы кто-то не захотел встать и пропустил разговление. Сон проходил ненадолго, а потом засыпали еще крепче. Когда подросли, ездили с папой в домовую церковь Константиновского училища, где было очень парадно. Вся церковь занималась юнкерами, стоявшими чинно в строю, а начальство и преподаватели со своими дамами размещались на клиросах.

В первый день был традиционный обед у бабушки Марии Кузьминичны, и Дуня показывала свое искусство. Мы так наедались, что уже вечером ничего не хотели есть и пешком отказывались идти, только ехать. Везли с собой подаренные яйца — шоколадные с драже и сюрпризами, или белые в скорлупе, наполненные шоколадом миньон, или фарфоровые, или даже в виде брелоков из уральских камней.

А перед великим постом была еще масленица с небольшими каникулами и блины у одной бабушки и у другой, со всякими вкусностями и приправами, а возвращение обязательно на вейках, с ленточками и колокольчиками на дугах маленьких мохнатых финских лошадок¹⁵⁰. Снег к этому времени становился уже желтым и грязным, и пахло весной.

Как вспомнишь, то кажется, что мы очень мало учились, кроме летних, были двухнедельные каникулы на Пасху и Рождество, а затем невероятное количество праздничных дней, все церковные праздники и все дни рождения и именины государя, государыни, вдовствующей государыни, наследника, иногда на неделе и по два праздничных дня. Но программы все же проходили.

На масленой неделе нас обязательно брали в театр на утренники, преимущественно в Александринский театр, на пьесы классического репертуара: *«Ревизор»*, *«Горе от ума»*, *«Свадьба Кречинского»*, когда мне посчастливилось видеть таких актеров, как Давыдов, Варламов, Стрельская, Далматов¹⁵¹, молодой еще Юрьев¹⁵².

Когда мне исполнилось 13 лет, в мое пользование поступил абонемент в оперу в Мариинский театр, и раз в две недели я наслаждалась неизвестным мне до тех пор искусством. Заботливый папа отвозил меня в театр и потом приезжал за мной и ждал в вестибюле. Место было только одно на балконе. Абонемент принадлежал тете Саше. Эти абонементы переходили в семьях от одного поколения к другому, каждый год его можно было возобновлять, а вновь получить почти невозможно, поэтому попасть в оперу и балет было очень трудно, так как внеабонементные спектакли давали только раз или два в неделю, на них стояли в очереди целые ночи, особенно если пели Шаляпин или Собинов. Процветали, конечно, барышни-

ки, торговавшие билетами по бешеным ценам. Другие театры были доступнее, но все же попасть в театр в Петербурге было событием.

Особенно участилось мое посещение театров, когда к нам приехала жить папина племянница Оля Глаголева. Она переехала к нам, когда окончила гимназию и поступила сперва в 8-й класс Стоюнинской гимназии¹⁵³, а потом на исторический факультет Педагогического института¹⁵⁴. Это была девушка с удивительно хорошим характером, всегда ровная, приветливая, маленькая, беленькая, некрасивая, но пользовавшаяся всеобщей любовью, настоящая сестра своих осиротевших младших. Мама была очень довольна ее пребыванием у нас, она прекрасно на нас действовала своим примером. Театралка она была страстная и вечно стояла в каких-нибудь очередях, то на Собинова, то на Шляпина, то на итальянскую оперу, перепалили билеты и мне.

Бабушка Людмила Федоровна совсем переселилась к зятю, Петру Павловичу Глаголеву, после смерти дочери. Переехала к брату и незамужняя его сестра Александра Павловна, всецело посвятив себя младшим детям, Лиле и Сереже, а бабушка вела хозяйство и воспитывала старших, Олю и Сашу. Петр Павлович был военным врачом, сперва в Одессе, а потом в Варшаве и в Ломже, это был удивительно спокойный, мягкий, добрый человек.

Несколько раз мы всей семьей ездили к ним в рождественские каникулы. Хотя мне было всего десять лет, я хорошо запомнила Варшаву, ее широкие улицы, обсаженные деревьями (они и назывались аллеями: Уездовская аллея, Иерусалимская аллея), великолепные парки (Лазенки, Уездовский парк), прекрасные магазины, цукерни¹⁵⁵ — город более европейский, чем Петербург, упряжь у извозчиков была на английский манер, без дуг.

В Польше между поляками и русскими не было никакого общения, были совершенно два разных круга, которые не смешивались. Я ни одного поляка или польки у моих родственников не видела, только служанки были поляками. В гимназии русские девочки держались отдельно, польки — отдельно, еврейки — отдельно и не дружили. Нас возили на елку в Русское собрание и в знакомые дома русских военных врачей.

Очень занятно было побывать в Ломже. Это была крепость на самой границе, и город был окружен фортами с громадными земляными валами. В одном из фортов был расположен госпиталь, в отдельных домиках жили врачи и другой медицинский персонал, у Петра Павловича был самый большой дом, он был главным врачом. В город ездили за покупками, а детей отвозили в гимназию на казенной лошади с солдатом на козлах. Хотя дом был и большой, непонятно, как мы все размещались, так как приезжали еще и родственники из Варшавы. За стол каждый раз садилось до пятнадцати человек. Надо удивляться, как бабушка, которой было уже за семьдесят, справлялась с таким большим хозяйством, были, конечно, слуги и еще денщик. Время проводили весело — гуляли по валам, устраивали спектакли, маскарады, елки устраивались у всех врачей, у которых были дети. В сочельник, по польскому обычаю, накрывали стол на сене под скатертью, подавались кутья, взвар и толченый мак с коржиками, все блюда были рыбными. Приходили местные жители колядовать со звездой.

Перед войной умер Петр Павлович, и бабушка со всей семьей переехала в Петербург, бабушка Антонина Федоровна, овдовев, со своей дочерью и внучкой — также. Обе бабушки поселились в отдельных квартирах на Петроградской стороне; нас окказалось четыре двоюродных сестры, и мы очень веселились в своем кружке, я часто

ездил по субботам к ним и оставалась там ночевать. Ходили вместе в театр, увлекались певцами и актерами, у каждой была своя пассия. Лилию отдали в институт, Сережу — в корпус, всем детям Петра Павловича назначили пенсию, дочерям — до замужества, Сереже — до совершеннолетия.

Очень приятные вечера проводили мы в семье проф. Сергея Федоровича Платонова, который был тогда директором Женского педагогического института. Это были старинные друзья бабушки Людмилы Федоровны. Жена Сергея Федоровича, Надежда Николаевна, была дочерью бабушкиной подруги, она жила у бабушки, когда училась на Бестужевских курсах, у бабушки же праздновалась ее свадьба с Сергеем Федоровичем; потом они жили в одном доме на Николаевской улице, одним маршем выше. Надежда Николаевна была замечательной женщиной, большая умница, очень образованная, прекрасно знала греческий и латынь, занималась переводами, сама всех своих детей готовила в гимназию. Дочерей было четыре, все они или учились, или уже окончили Бестужевские курсы, и все были филологи или историки, очень способные. Младшая Маруся хотела нарушить традицию и поступила на математический факультет, но через год не выдержала и тоже перешла на филологический. Самым младшим был Миша, очень серьезный мальчик в очках.

В доме Платоновых собиралось много молодежи. Самого Сергея Федоровича мы видели мало, он выходил ненадолго к чаю. Директорская квартира имела дверь в актовый зал института, куда после чая мы и высыпали, танцевали под рояль, если было кому играть, играли в подвижные игры. На этих вечеринках я познакомилась и подружилась с Адрианом Пиотровским¹⁵⁶, тогда просто Адей, сыном подруги Надежды Николаевны и Ф. Ф. Зелинского¹⁵⁷, впоследствии одним из культурнейших людей двадцатых-тридцатых годов, знатоком античности, переводчиком греческих трагедий, писателем, деятелем кино, директором Института истории искусств. Тогда он был учеником нашей школы, как и я, восьмиклассником, так что мы быстро нашли общий язык.

Потом Платоновы переехали на другую квартиру, мы уехали из Петрограда и, когда вернулись, виделись уже редко. Надежда Николаевна умерла от рака, две дочери с мужьями после революции уехали за границу, Наташа вышла замуж за пушкиниста Измайлова¹⁵⁸. В 30-х годах Сергей Федорович, старшая Нина и Маруся были арестованы и куда-то высланы, больше мы о них ничего не слышали. Моя дружба с Пиотровским тоже оборвалась, не развившись, но я с интересом всегда следила за его деятельностью. Он кончил печально, умер в тюрьме.

Стоит сказать немного и о нашей школе, в своем роде замечательной, хотя я ее совсем не ценила и не любила, пока в ней училась, и только потом поняла, как много она мне дала и какие прекрасные педагоги там работали. Мои симпатии были направлены на Выборгское коммерческое училище Германа¹⁵⁹, где училась моя близкая подруга, и я очень хотела туда перейти, подружившись со многими учениками, которые все были намного развитее и интереснее моих немочек. Там было совместное обучение и необыкновенно хороший товарищеский дух. Туда охотно отдавала своих детей либерально настроенная интеллигенция, была полная демократия, когда рядом сидели миллионерша Черепенникова¹⁶⁰ и дочка рабочего.

В немецкую школу Petri-Schule меня отдали в угоду дедушке Василию Васильевичу, после Рождества во второй подготовительный класс; язык я знала плохо, меня что-то заставили прочесть, от смущения я ничего не поняла, но инспектриса¹⁶¹ была дедушкина хорошая знакомая, и меня взяли. А к весне я уже говорила, как немка, все девочки говорили между собой по-немецки, кроме двух-трех рус-

ских, все предметы, кроме русского языка, конечно, да закона божьего, велись тоже по-немецки, вот это и способствовало такому быстрому овладению языком. Правда, с 1914 г. преподавание перевели на русский язык, но это было нетрудно, так как преподаватели наши были все обрусевшие немцы, кончившие русские университеты. Нас очень удивило осенью, когда мы вернулись в школу, услышать, как они все великолепно говорят по-русски. Преподавание других языков было тоже на должной высоте: французского — с первого класса, английского — с третьего, причем преподавателями были настоящие французы, настоящие англичане. В очень большом объеме преподавалась иностранная литература — немецкая, французская и английская, с самых древних времен, думаю, что так теперь ее проходят только на специальных факультетах высших учебных заведений. Должна сказать, что в вопросах литературы я никогда не была так эрудирована, как сразу по окончании школы. А практическое знание языков давалось такое, что все окончившие нашу школу могли во всяком случае свободно читать на трех языках, если за отсутствием практики и забылась разговорная речь. В старших классах преподавались логика, психология, история философии, особенно интересны были уроки истории, которую вел известный историк Вульфийус¹⁶². Нас старались заинтересовать и искусством, в восьмом классе был введен специальный курс по искусству Возрождения, а в свободные часы кто-нибудь из преподавателей шел с нами в Эрмитаж или просто по городу, знакомя с классической архитектурой. Все они были на редкость культурными людьми, как вспоминаешь. И все проходило без всякой перегрузки, укладывались в положенные шесть часов, и задавали на дом немного. Может быть, несколько меньше по сравнению с передовыми частными гимназиями — Шаффе¹⁶³, Стоюниной, Таганцевой¹⁶⁴ — была программа по математике и физике, но я по собственному опыту могу сказать, что мне вполне хватило знаний по этим предметам для Политехнического института. Дисциплина была умеренная, не было казенщины и дрессировки, как в [женских] институтах. Формы обязательной не было, хотя и не позволяли ходить нарядными и причесываться по-взрослому. Здание было прекрасное, его перед самой войной перестроили на более современный лад, причем необыкновенно быстро, отпустили учащихся на лето несколько раньше обычного и начали вновь занятия с 1-го октября, а мы школу не узнали, особенно нашу женскую половину; было надстроено два этажа, новый большой гардероб, гимнастический зал, устроен лифт для преподавателей и т. п., остался в неприкосновенности старинный актовый зал, с громадными кафельными печами, деревянными панелями внизу стен и портретами всех бывших директоров. Говорят, он и сейчас такой. Школа очень гордилась тем, что была основана еще при Петре Великом¹⁶⁵.

Тамара настолько плохо знала немецкий язык, что ее не взяли в первый класс, и мама отдала ее в гимназию Стоюниной, а Таня проучилась в моей школе только в двух приготовительных классах, а затем ее тоже перевели к Стоюниной, я должна была через несколько лет окончить школу, и ее не хотели оставлять одну, хотя бы потому, что она была слишком мала, чтобы одной ходить с Ямской на Конюшенную.

Хочется вспомнить и людей, с которыми долгие годы мы были тесно связаны — наших домработниц, или, как тогда говорили, прислуг.

Первой вспоминается мамина няня, Екатерина Николаевна, которая в первый год моей жизни нянчила и меня. У бабушки она вынянчила всех пятерых детей. Это была очень умная, властная женщина, державшая в повиновении весь дом. Не знаю,

была ли она грамотной, думаю, что да, она говорила на очень правильном языке, но во всяком случае у нее была какая-то прирожденная воспитанность, умение себя держать во всех обстоятельствах с достоинством. Ее и звали всегда только по имени-отчеству. Характерен следующий эпизод. Принц Ольденбургский очень хорошо относился к бабушке, с большим уважением. По принятому этикету, по табельным дням дедушка ездил во дворец и расписывался в книге, и принц через несколько дней всегда отдавал ему визит. Как-то раз он приехал, когда никого не было дома, кроме няни и детей. Екатерину Николаевну ничем нельзя было смутить, и она спокойно объявила: **«А сегодня был принц. Мы хорошо так с ним поговорили».**

От нас она ушла, обидевшись на маму, которая, зайдя на кухню, глазами неосмотрительно пересчитала то ли пирожки, то ли вареники, без всякой задней мысли, а просто чтобы убедиться, что их достаточно. Няня хлопнула дверью и тут же ушла, тут ум ей изменил, бабушке пришлось ее урезонивать.

Потом она ушла на покой в Елисейевскую богадельню на Васильевском острове, а праздники всегда проводила у бабушки или у нас, летом постоянно жила у нас. Праздников она никогда не сидела, даже на отдыхе, всегда старалась быть полезной. Она была удивительной белошвейкой, не признавала швейной машинки и шила все на руках крошечными ровными стежками, делала малюсенькие складочки и вставляла прошивки, как тогда было принято, за лето она обшивала всех нас. Нас она даже иногда изводила своими заботами. Она рано вставала и рано ложилась и считала своей обязанностью вечером обойти все комнаты и всем открыть постели. И вот приходим мы в нашу комнату с подругами и, о ужас, все приготовлено на ночь!

В 1922 г. она была еще жива и гостила летом у тети Лизы в Петергофе. Мы с тетей часто спорили, кому из нас идти гулять с маленькой Ликой, обе это не любили, но наш спор обычно разрешала няня: **«Лизочка, Лидочка! Что сидите дома в такую погоду? Идите обе гулять с Ликой, а обед буду стряпать я»**, — и мы безропотно подчинялись.

Замечательна была и бабушкина Дуня, которая поступила к бабушке горничной в 17 лет и прожила в семье до революции. Затем ее устроили уборщицей в университете, где она и жила, выйдя замуж в довольно солидном возрасте за служителя В. А. Догеля Сильвестра. Но все выходные дни проводила у тети, помогая, чем могла. Раз она со смехом рассказывала: **«Было у нас собрание, мне и говорят, вот, Тимофеева, вы всю жизнь в услужении жили. Расскажите, как ваши господа вас притесняли. А я и говорю: ничего худого я от своих господ не видела, поступила к ним — ничего не умела, всему меня выучили, худого слова не слышала, все только пожалуйста. И теперь роднее у меня никого нет».** Еще к моей свадьбе она испекла свои знаменитые торты, а потом, бедная, умерла от рака. Тетя ее все время навещала в больнице и оплакивала как близкого человека.

Наше семейство было связано с семьей Моисеевых из Ярославской губернии, которые стали для нас почти родными. Первой появилась няня Афанасия, вынянчившая нас всех троих, красивая румяная старуха с необыкновенно голубыми глазами. Нам она казалась старой, вероятно, она была моложе, чем мы думали. Всегда в опрятном сатиновом платье, в белоснежном переднике и в чепце (сборки своих чепцов она всегда крахмалила и плоила особыми щипцами), степенная, удивительно уютная. У нее был сын со странным именем Агафопот. Няня говорила, что он был незаконный, и священник в наказание ей дал ему такое имя. Няня определила его мальчиком в магазин, потом он стал приказчиком, оказался очень энергичным и скоро открыл собственный магазинчик на Садовой, где торговал всяким прикладом, шелками, шерстью, канвой, в общем — всем для рукоделия, а затем открыл боль-

шой магазин в Апраксином дворе. Его жена, «невестка», как мы ее называли, была тоже очень трудолюбива. Все дети, дочери, которые в детстве приходили к нам играть, кончили гимназию. Вскоре они имели уже не только квартиру, но и дачу под городом, куда мы ездили в гости, в общем, были куда состоятельнее нас.

Няня прожила у нас девять лет, и когда она ушла жить к сыну, мы без нее ужасно скучали, для нас был праздник, когда она приходила.

Няня была настоящей ярославской крестьянкой, богобоязненной, соблюдавшей все посты, честной, работящей, связи с деревней не терявшей. К ней всегда кто-то приезжал и привозил деревенские гостинцы, которые мы очень любили: пряженцы (пирожки) со сметками, орешки из теста и обязательно перед Пасхой так называемую «жженую четверговую соль». Она приготавлилась в великий четверг: большой комок соли заворачивали в льняные тряпки, затем помещали в новый лапоть и клали в русскую печь, где она спекалась, и затем толклась. С ней полагалось есть крашеные яйца, у няни ее запас держался круглый год, и мы ею солили хлеб, что казалось необычайно вкусно. Нянина постная еда нас очень привлекала — тюря из черного хлеба с квасом, гороховый кисель, кислая капуста с постным маслом. И сказки она рассказывала, как и полагается настоящей няне, довольно своеобразные.

Потом стали приезжать нянины племянницы, все Моисеевы. Сперва Уля, прожившая у нас долго, до свадьбы со своим двоюродным братом Василием. Помню ее свадьбу, которую мама устраивала у нас. Уля была в белом платье, в фате, вся в слезах, опустилась перед мамой на колени, которая благословила ее образом. Папа взял Василия сторожем в физический кабинет Константиновского училища. Он оказался очень способным человеком, быстро усвоил все опыты, которые папа демонстрировал на лекциях, и хорошо помогал. И сам говорил: «Вижу, как какой-нибудь юнкер бьется над опытом, так бы и подсказал ему, вот только записать не могу». Он был малограмотный. Уля переехала в комнату при кабинете, скоро появилась куча детей, мал-мала меньше, мы называли их «шарики», они были все круглоголовые, наголо остриженные, очень чистенькие. Когда в 1929 г. родилась Маика, мама выписала из деревни Улю, и она появилась почти не изменившаяся, маленькая и худенькая, но такая своя. Скоро ей пришлось уехать в деревню, нянчить внуков. Но жженую соль она долго присылала нам к Пасхе. После Ули была Даша, потом хорошенькая Настя.

У нас ничего не запиралось, может быть, только деньги и драгоценные вещи, уж во всяком случае не еда. К прислуге относились с уважением, всем говорили «вы», но все же дистанция соблюдалась, никогда не было фамильярности, были барин и барыня, и каждый знал свое место. Нам не позволялось прислуге дерзить или делать замечания, это нам и в голову не приходило, и следовало благодарить за все.

Мама выдавала всех замуж, а папа пристраивал на работу. Улю он устроил уборщицей в физический кабинет Женского политехнического института, Дашу — уборщицей в чертежные, дочку Ольги Васильевны Надю — в канцелярию. Когда в 1916 г. я поступила в институт, у меня всюду была протекция. То Надя прибежит: «Я тебя на экзамен записала», то Уля придет: «Тебе работу по физике надо сделать, я тебе место заняла», то Даша спрашивает, не надо ли доску наклеить. Да и преподаватели многие были знакомые, а и незнакомые, узнав фамилию, сразу улыбались — уж не дочка ли Бориса Львовича? Глеб Федорович Воропонов, поправляя мне рисунок, говорил мне «ты» и «Лидочка», к изумлению соседок.

Папа был очень популярен в институте, где был деканом электромеханического факультета почти с самого основания Женских политехнических курсов, с 1906 г.

Он был убежденным поборником женского технического образования и душу вкладывал в преподавательскую и административную деятельность, как, впрочем, и весь коллектив преподавателей во главе с бессменным директором Николаем Леонидовичем Щукиным, известным конструктором паровозов¹⁶⁶.

Отца очень любили слушательницы, он всегда был приветлив и доброжелателен, а лектор он был хороший. Когда я в первый раз слушала его лекцию, я была поражена: обычно молчаливый папа говорил так ясно, громко, так хорошо пояснял материал. Перед началом занятий я стояла у списка вновь принятых слушательниц и слышала разговор двух старшекурсниц: «Смотрите, какая-то Розинг поступила, уж не нашего ли Розинга дочь?» — «Ну, что вы, как у него может быть такая большая дочь. Я наверное знаю, что он даже не женат». Я, конечно, передала этот разговор папе, и он был очень польщен, тогда он выглядел еще очень молодо. А когда он выздоравливал после воспаления легких, о его состоянии все время спрашивались его механички и присылали ему цветы.

Отец, конечно, хотел видеть меня на электромеханическом факультете, а мне хотелось поступить на архитектурный. В конце концов я пошла на компромисс, им предложенный: первый год заниматься на обоих факультетах; такое совмещение было возможно, лекции читались на первом курсе общие, разница была только в черчении. Но хватило меня лишь на один год, и папе не удалось сделать из меня электротехника.

Мой первый курс на архитектурном факультете оставил мало следов, я была абсолютно не подготовлена, рейсфедер я в первый раз увидела, когда купила себе первую готовальню. Очень занимало быть студенткой, слушать лекции, которые, особенно по высшей математике, были на очень высоком уровне, дифференциальное исчисление читал Билибин¹⁶⁷, аналитическую геометрию — Лобанский, необыкновенно увлекательно и ясно. Я пропадала в институте с утра до вечера, обедала в институтской столовой или в столовой Технологического института, ела за какие-то копейки щи и гречневую кашу¹⁶⁸. На первом курсе нас было очень много, 90 человек, а преподавателей мало, красавец поляк Ястржембский¹⁶⁹, в которого все слушательницы были влюблены, да кротчайший Руфим Михайлович Габел¹⁷⁰, неутомимый труженик, он же бессменный секретарь факультета, бесконечно преданный институту. Я попала к нему в группу. При таком количестве студентов трудно было руководить, едва хватало времени в часы занятий обойти всех, я делала все, что требовалось, мало понимая, зачем. Рисовали мы какую-то печку, затем флюгарку, мало вдохновляющие предметы. Рисунком, кроме Воропонова, руководил элегантный Гевирц¹⁷¹ и романтический Курилко¹⁷², с черной повязкой на глазу — уверяли, что он потерял глаз на дуэли, еще Бернардацци¹⁷³, похожий на Мефистофеля. Чертила я плохо, рисовала посредственно, экзамены же сдавала на пятерки, это было мне привычнее.

После Февральской революции, когда закрыли институт, Ястржембский устроил желающих работать в Академию художеств, которая была почти пустая, и мы заняли целую мастерскую. Ходили мы туда, как в храм, и смотрели на редких учеников как на существа высшего порядка, таланты! Производило впечатление и само здание, гулкие, как бы монастырские коридоры, где стояли в полутьме, точно призраки, гипсовые статуи, запертые индивидуальные мастерские. Ястржембский раз как-то обратил на меня внимание и захотел проверить, понимаю ли я, что черчу; я выполняла дорический ордер, но выказала такое невежество, что он только с сожалением на меня посмотрел: ну, милая, выходила бы ты лучше замуж. Странно, что я мало обращала внимания на здания в натуре, ходила, как слепая, вместо того, чтобы хо-

рошенько рассмотреть карнизы, капители, модульоны — все, что мы чертили. Это был совершенно новый и своеобразный мир, в который мы заглянули, классическая архитектура, и должно было пройти время, чтобы с ним освоиться, и человек, который бы тебе его открыл.

Изобразительное искусство тоже мне тогда только немного приоткрылось и тоже очень фрагментарно. Одна моя школьная приятельница, поступившая со мной вместе на архитектурный факультет, открыла для себя на Исаакиевской площади Институт истории искусств, пришла от него в восторг, завела и меня туда. Это учреждение было мало похоже на наш демократический, шумный, как улей, институт и наводило на нас робость. Мы с нашими косичками старались проскользнуть поскорее мимо важных лакеев в вестибюле с пылающим камином и сунуть им наши скромные пальтишки. Институт помещался в особняке графа В. П. Зубова, любителя и знатока изобразительного искусства, он же был и директором¹⁷⁴. Состав слушателей был пестрый; у подъезда вереница собственных экипажей, из которых выходили светские дамы, среди них много пожилых, были и студенты вроде нас. Для приема никаких документов не требовалось, паспорта не спрашивали, записывали имя, отчество и фамилию — и все. Не было деления на курсы, не было, в сущности, и программы, а читались отдельные циклы лекций, но виднейшими специалистами того времени, слушай — что хочешь, пользуйся великолепной библиотекой самого Зубова, если можешь — пиши работу на интересующую тебя тему, получая консультации. Мы просто ходили на все лекции, насколько это позволяли занятия в институте, лекции читались, как правило, во второй половине дня. Помню лекции Айналова¹⁷⁵ по древнерусскому искусству, Бодуэна де Куртене¹⁷⁶, Курбатова, самого Зубова, фон Гильзе фан дер Пфальца по истории музыки и др. Помещение было очень импозантное, широкая лестница вела на второй этаж, там были приемная, библиотека, где все стены были закрыты стеллажами с книгами, уютная аудитория с фонарем. В обязанности каждого входило помогать при демонстрации диапозитивов, до нас, слава Богу, очередь не дошла, а то мы бы умерли со страху. Помню забавный эпизод на лекции Зубова. Он читал лекцию о потолке Сикстинской капеллы и демонстрировал серию юношей, для каждого из которых у него была приготовлена эффектная фраза. И вот очередная седая дама мигом перепугала все диапозитивы, так что Зубов произносит приготовленную фразу, а юноша — не тот, просит другого — опять не тот. Надо отдать должное его воспитанности, он широко улыбался, хотя, вероятно, внутренне кипел, а мы помирали со смеху.

После революции этот институт приобрел характер обычного высшего учебного заведения и потерял свой интимный любительский характер и стиль. Вскоре Зубов уехал за границу, женившись на одной из слушательниц, директором стал Адриан Пиотровский¹⁷⁷, многие наши видные искусствоведы и литературоведы его окончили.

Отец не много путешествовал: в ранней молодости — на кумыс в Заволжье, когда у него было неблагополучно с легкими, затем совершил свадебное путешествие по Волге, когда заезжал в Нижний Новгород, где еще были какие-то родственники, затем был в Тифлисе. За границей был один раз на съезде физиков в Марселе, откуда проехал в Ниццу и Геную. Вернулся к нам в Мошняково полный впечатлений, рассказывал про Италию, от которой был в восторге, изображал, как он заказывал себе «*Frutti di mare*» («*Плоды моря*»), и ему принесли всякую нечисть, с которой он не знал, что делать. Нам привез засахаренные фрукты и конфеты из фиалок, и есть

их было нельзя, да еще каждой дочке по серебряному филигранному ожерелью, мне — из бантиков, Тамаре — из эдельвейсов, Тане — из ромашек, мы их носили в торжественных случаях. Обещал мне, когда я закончу школу, что мы с ним поедem за границу путешествовать; увы, это не осуществилось.

На рождественские каникулы 1916–1917 гг. папа решил нас развлечь и взял сюрпризом билеты на Юг, на кавказское побережье, до Туапсе, чтобы дальше проехать в Сочи. Но тут случилась неожиданность — обе мои сестры заболели корью. Тамара успела поправиться, так что мы с папой и с ней поехали вперед в Туапсе, чтобы там дождаться маму и Таню. С нами поехала и жена маминого брата Бориса Елена Павловна, дядя Боря был на фронте, и она скучала в одиночестве. До сих пор она вспоминает это путешествие с удовольствием. А как нам было интересно, и говорить нечего. Папа хотел показать нам горы и южное море, расширить наш горизонт, как он говорил. Он обставил все, как возможно лучше, ехали мы в мягком вагоне, обедать ходили в вагон-ресторан. Наконец, рано утром папа нас разбудил: «**Смотрите, горы!**», — они нас несколько разочаровали, справа и слева вставало что-то не очень высокое, бурое, похожее на верблюжьи горбы, но это было только начало. Затем до Туапсе мы проезжали уже настоящие горы, поезд шел с поворотами, проходили туннели, нельзя было оторваться от окна.

В Туапсе нас встретило южное солнце, хотя и зимнее, и море, настоящее, необъятное, синее. Поселились мы в гостинице, что тоже было для нас внове, ели в ресторане морскую рыбу, кефаль и скумбрию, у которой кости были голубые, как и вода в графине и в ванной. Делали прогулки в горы, к дольмену, по полянам, покрытым маленькими альпийскими фиалками, в общем, увидели южную весну. Вечерами от горного воздуха у нас с непривычки кружились головы. Папа поехал в военной форме, которую он имел право носить по Константиновскому училищу, «для престижу», как он говорил. Произошел смешной инцидент: утром нас с сестрой будит горничная: «**Барышни, вставайте, полковник ждет вас завтракать**». Мы перепугались, какой полковник? Спешим в ресторан, а за столиком сидит папа. Так мы узнали, что он имеет чин полковника, соответствующий его штатскому чину статского советника¹⁷⁸. Мы были так мало связаны с военными кругами, что совершенно не разбирались ни в каких отличиях. Тут же мне это знание пригодилось. Я любила писать акварелью и наивно в военное время уселась с альбомом на пляже. Сразу же ко мне подошел урядник: «**Барышня, кто вы такая и что вы здесь делаете?**» У меня душа ушла в пятки, но я все же догадалась сказать, что мой отец полковник такой-то и живем мы там-то. Он оставил меня в покое, только запретил рисовать на пляже. Тогда боялись немецких кораблей «*Гебен*» и «*Бреслау*»¹⁷⁹, проникших в Черное море; вечером огни в порту не зажигались, хотя в городе окна не завешивались и лавочки светились, возможно, что уличное освещение не горело.

Наконец подъехали мама с Таней, и мы отправились в Сочи, железной дороги еще не было, и мы ехали на лошадях, в двух экипажах, два дня с ночевкой. Приехали на Ривьеру вечером, только что отстроенную, и нас встретило новое волшебство: в саду — пальмы, бананы и другая экзотика, которую мы до сих пор видели только в ботаническом саду в оранжерее. Гостиница была почти пустая, очень благоустроенная, у нас были номера с балконами на море. В саду цвели мимозы, зацветали фиалки и розы, под прошлогодними листьями пробивались подснежники и голубой барвинок. Когда мы уезжали, то заказали садовнику корзину цветов, он переложил цветы мхом, и мы могли в двадцатиградусный мороз на улице у бабушки устроить

по приезде праздник весны. Это было последнее беззаботное время, спасибо папе. Да он и сам радовался не меньше нас. Обратнo мы решили ехать из Сочи до Туапсе морем, это было наше морское крещение. Пришлось плыть на угольном транспорте, на палубе. Начался шторм, маму и Таню сразу укачало, Тамара держалась стойко, а я только и думала, как бы скорее доплыть. Мы пришвартовались в Туапсе к молу в полной темноте. Какая-то пассажирка сделала шаг в сторону и очутилась в море, но матросы сразу за ней бросились и выловили ее, а она еще бранилась, что не спасли ее сумку.

В Петрограде жизнь становилась все беспокойнее. Начались очереди за хлебом и маслом, у нас кончились дрова, и их нельзя было купить, так что конец зимы мы отчаянно мерзли, вести с фронтов шли плохие. Взрослые становились все озабоченнее, доходило волнение и до молодежи. Помню, как в дом моей подруги, где собиралось много либерально настроенной молодежи из Выборгского коммерческого училища, дочь Милюкова Така принесла речь отца, произнесенную в Думе, которая не была пропущена цензурой¹⁸⁰. Ее читали вслух, и она казалась очень революционной. Отец был далек от политики, но, конечно, возмущался политикой царского правительства и министерской чехардой, которая не сулила ничего хорошего, а разруха в стране все усиливалась. Общественная деятельность отца выражалась в пропаганде научных знаний, он охотно читал лекции в рабочем университете, писал и издавал популярные книги по физике, которые были понятны совсем не искушенным в науке людям. Его девиз был: знания в народ. Февральская революция была им встречена с удовлетворением, как и большинством интеллигенции, как единственный выход из создавшегося тупика. Но военная капитуляция ему казалась невыносимой. Впервые прозвучало имя Ленина. Февральские дни были радостными, все было на улицах с красными бантами. Я с папой шла в институт, где-то застроили пулеметы, и он меня быстро втолкнул в какой-то подъезд. Но, в общем, было спокойно. Мы с подругой бегали по митингам и слушали всех, ни в чем не разбираясь, то Керенский говорил с балкона, то Троцкий, все казалось убедительным в данный момент. В институте тоже собирались митинги вместо лекций. Шла агитация за закрытие института, почему — мне лично было непонятно, да и теперь неясно, хотя это исходило из самых левых институтских кругов. В конце концов постановили закрыть, я сама голосовала за. Когда, придя домой, я сообщила об этом папе, он очень взволновался и сказал: **«Дуры, не знаете, что делаете. Таких трудов стоило организовать и поддержать институт, а теперь все пойдет прахом»**. Так оно и вышло. Здание занял какой-то полк, пришедший с фронта, и занятия почти прекратились. Женский политехнический институт кончил свое существование, чтобы через несколько лет возродиться в виде Второго политехнического института¹⁸¹.

До 1917 г. жизнь нашей семьи проходила, в общем, безмятежно, были естественные потери, смерть деда мамы, смерть отца папы и отца мамы, но это были все старые люди. А тут мы лишились Тamarы, полной жизни в свои 15 лет, причем девочки совершенно обаятельной, талантливой, много обещавшей. Какая замечательная женщина могла из нее выйти! Она была любимицей отца, а может, это казалось и ему и окружающим, потому что ее-то он и потерял. Когда она была еще совсем маленькой, она была очень смешная и некрасивая, с глазками-щелочками, носиком-пуговкой, в общем, похожая на деда Льва Николаевича. Вот уж у деда она была бесспорной любимицей. А папа брал ее на руки, рассматривал и говорил: **«Почему все считают ее некрасивой? Вот увидите, она еще будет прехорошенькой»**. И он не

ошибся, глаза, хоть и небольшие, были необычайно живые, все подмечавшие, светло-серые, носик стал точеный, чудесная веселая улыбка, заразительный смех. Особенно красили ее волосы, слегка вьющиеся, удивительного золотистого цвета, всегда стоявшие ореолом вокруг ее головы. Она была хорошо сложена, легкая в движениях, знакомая балерина находила, что ее надо непременно учить танцевать и поставила на детском празднике для нее качучу, которую она исполняла с большим темпераментом. Она буквально ко всему была способна, кроме, пожалуй, рисования, прекрасно училась, была исключительно музыкальна, с абсолютным слухом; мы всегда забавлялись, заставляя ее угадывать из соседней комнаты ноту, она их безошибочно называла, стала учиться играть на скрипке, на рояле часто фантазировала. Не надо думать, что она была уж таким ангелом, она была вспыльчива, упряма, насмешница, хотя и не злая, дразнилка, могла и надерзить, мы с ней часто ссорились, но ей все можно было простить из-за особого обаяния. Я как-то разговорилась с одной знакомой, которая училась в гимназии Стоюниной. Когда я ей сказала, что у меня там учились сестры, в частности, Тамара, она пришла в волнение: **«Боже мой! Тамара Розинг! Мне было десять лет, когда она умерла, но впечатление о ее смерти до сих пор во мне живо, это потрясло всю гимназию. Не было девочки более популярной, ее знали и любили все, и старшие, и младшие, не говоря об учителях, которые ждали от нее очень много».** Помню, когда она лежала в гробу, пришел один из учителей и долго на нее смотрел глазами, полными слез, а на кладбище провожала ее вся гимназия. Прошло столько лет, но все мельчайшие детали ее последней болезни стоят перед глазами.

Она была здоровая девочка, крепкая, выносливая, но часто болела несильными ангинами, эта кажущаяся обычность болезни ее и сгубила. Мама привыкла сама справляться, знала, что дать, чем смазать горло, и не позвала сразу врача, температура была небольшая, чувствовала она себя хорошо, лежа в постели, читала Блока, которым тогда увлеклась. Но однажды ночью я проснулась оттого, что она привскочила с постели. **«Что с тобой?» — «Я что-то задохнулась»**, — и опять легла. Затем температура стала подниматься до очень высокой, горло стало сильно болеть и очень запухать. Пригласили врача-горловика, который нашел воспаление надгортанного хряща как осложнение после ангины. Потом он очень себя упрекал и говорил, что надо было позвать детского врача, они опытнее нас, говорил он маме. Наступили тяжелые дни, Тамара уже лежала, не поднимая головы, мама была неотлучно при ней, меня выселили в папин кабинет, Таню отправили к Свищевским. Обед не варили, печи не топили, не было дров, почему-то не было и домработницы. Если хотели есть, варили себе яйца с помощью спирали, откуда-то у нас было много яиц. Папа сидел все свободное время около Тамары и вслух читал роман Троллопа¹⁸² *«Эйалин ангел»*, даже это запомнилось. Мама грела на керосинке льняное семя для припарок, а врач говорил о больнице и о возможности операции. Приехал дядя Петя и высказал предложение, не был ли это дифтерит, и взял мазок для исследования, но результаты пришли уже после ее смерти, это действительно был дифтерит. В день ее смерти я пошла зачем-то в институт, пришла домой, а швейцар передал мне ключ от квартиры и сказал, что Тамару увезли в больницу. С больницей было уже все договорено, и я не беспокоилась, сделала себе яйца, потом решила позвонить маминей приятельнице, Елизавете Николаевне, узнать, не звонила ли ей мама из больницы. Ответила мне ее горничная, что Елизавета Николаевна уехала в больницу. **«Зачем?» — «Как, барышня, разве вы не знаете, что Тамарочка умерла?»** У меня вся комната поплы-

ла перед глазами, точно меня ударили по голове. Не знаю, как я выскочила, заперла квартиру, ключ сунула в карман, уже ничего не соображая, и помчалась к бабушке. Там застала одну тетю Лизу, всю заплаканную, бабушка и тетя Саша уже уехали в больницу. Мы с тетей поехали куда-то на Васильевский, но оказалось, что они все уже уехали домой и увезли Тамару. Дома в вестибюле мы увидели гроб и всех, в квартиру они не могли попасть, ключ ведь был у меня.

Когда Тамару уложили, мама взяла меня за руку: «**Пойдем к ней, ты не бойся, она точно спит**». И действительно, Тамара лежала на своей кровати, как обычно, в изголовье горела лампочка, и она, казалось, спокойно спала. Оказывается, они только успели устроить Тамару в палате, ее осмотрел доктор, причем, видимо, сделал ей больно, так как она сказала: «**Какой неприятный!**» Потом вдруг резко приподнялась, сказала: «**Мне худо**» — и откинулась на подушку мертвая. Паралич сердца. Ужасно, что все это можно было предотвратить, сделав вовремя прививку.

Это случилось 24 апреля старого стиля.

Странно было, что мы с ней как бы простились накануне. Я купила на улице букет первых перелесок, поставила их в вазу и принесла ей, вдруг она приподнялась и меня поцеловала. Я очень удивилась, такие нежности у нас не водились: «**Ты что?**» — «**Так, захотелось**».

Папа звонил по всем знакомым, потом в отчаянии положил трубку: «**Не могу больше**». Мама была совсем растерянная, видимо, не осознавая до конца, что случилось. Эту ночь я ночевала дома и ночью слышала из гостиной, куда перенесли Тамару, монотонное чтение монашки. Кто-то чем-то распоряжался, делал, что полагается. Мамина подруга тетя Женя Кошко пыталась нас чем-то кормить и осталась ночевать, хотя был уже получен результат исследования. Это был действительно с ее стороны необычайный знак дружбы, у нее было двое детей.

На другой день нас с Таней отправили к бабушке, а папа и мама остались одни с Тамарой, мы встретились только на похоронах, и я увидела маму в длинной креповой вуали. Тамару похоронили в Александро-Невской лавре, в одной могиле с дедушкой Василием Васильевичем.

В квартире стали делать дезинфекцию, у нас у всех взяли мазки, но дифтеритные палочки оказались только у тети Лизы, которая навестила Тамару один раз. Тревога за нас, видимо, помогала родителям держаться. Потом вернулись в такую опустевшую квартиру!

Нас не оставляли одних, все время приходили Тамарины самые близкие подруги, приходил чуть ли не ежедневно Митя Нелидов, Тамарин приятель и поклонник, сын Дмитрия Дмитриевича Нелидова, с семьей которого мы особенно сблизились в Котлованове. Мама подарила ему медальон с Тамариной фотографией и прядкой волос. Уже много лет спустя мама в Петергофе в разговоре с женой одного зоолога случайно сказала, что у нее была еще одна дочь, Тамара. И Александра Николаевна рассказала, что у нее был жених, Митя Нелидов, и она ужасно ревновала его к памяти Тамары, о которой он ей рассказывал. Он никогда не расставался с медальоном и говорил, что так, как он любил в ранней юности эту девочку, он никогда больше любить не сможет. А Тамара над ним смеялась и им помыкала, как хотела.

Грустная была эта весна. Мы очень сблизились с семьей Скородинских¹⁸³, которые в этом же году потеряли младшую дочь Лену от менингита, она тоже училась в Стоюнинской гимназии, и мама познакомилась с Ольгой Николаевной на родительских собраниях, а затем вместе работала в лазарете. Общее горе их сблизило, и

вместе им было легче. Они пригласили нас поехать на лето к ним в имение в Курскую губернию. Александр Петрович поехал вперед, чтобы все приготовить, а мы в ожидании решили пожить в Гунгербурге¹⁸⁴. Сперва мы поехали туда одни и поселились в унылом пансионе, где кроме нас еще никого не было. Мама то была спокойна, то вдруг заливалась слезами, вскакивала из-за стола и уходила к себе в спальню, папа спешил за ней, а мы с Таней с трудом проглатывали обед или ужин.

Потом приехали Ольга Николаевна с Катей, затем тетя Лиза, жена дяди Дани, с годовалой Ирочкой, ее мать и сестра, на своей даче жили Догели, все сплотившись вокруг нас, и мы жили большим обществом. Иногда было даже весело, в молодости невозможно все время горевать. Таня поступила в бой-скауты, ходила в походы и искала добрые дела, чем я широко пользовалась. В Курскую губернию мы так и не поехали, Александр Петрович писал, что там неспокойно, начались крестьянские волнения, поджоги, так что мы и прожили все лето в Гунгербурге, купались, ездили через Нарову на мельницу пить молоко, матери тоже стали спокойнее. Мне доставляло большое удовольствие общество Кати и ее подруг — все студентки архитектурного факультета старше меня.

Но смерть Тамары оставила неизгладимый след, и родители, особенно папа, как-то сразу постарели, папа стал еще более молчаливым и погруженным в себя. Маме, как более экспансивной и непосредственной, было, вероятно, легче. Папе же было особенно тяжело одному в городе в пустой квартире. Из города приходили тревожные слухи, с фронта — тоже.

В довершение всего в Гунгербурге произошел сильнейший пожар. Лето было очень жаркое и сухое, почти без дождей. Загорелось на даче у Догелей, вероятно, от неисправности дымохода у плиты. После обеда мать Валентина Александровича, Екатерина Алексеевна, прилегла отдохнуть, прислуга куда-то ушла, Валентин Александрович ухаживал за тетей и пропал у нее, Екатерина Алексеевна услышала запах гари и выскочила из дома в чем была, в капоте, тушить уже было поздно, и, когда приехали пожарные, от дачи осталось одно пепелище, не успели ничего вынести из вещей. Огонь перекинулся на соседние дачи и пошел гулять; дачи были поставлены тесно, а между ними — сосны, которые пылали, как свечи, к счастью, ветер был в сторону Наровы, и, дойдя до реки, огонь остановился. Паника была страшная, все тащили свои вещи и покидали дачи. Долгое время и мы боялись ночью крепко спать, наши комнаты в пансионе были на третьем этаже, и вела туда узкая, круглая лестница, деревянная, конечно. Лежали и прислушивались, не завоет ли сирена. Стояли в очереди за хлебом, уже не белым и черным, а серым, остальное все можно было получить в пансионе, и обед, и ужин. Приехал с фронта муж тети, дядя Воля Павлов, на несколько дней, помню, как он смотрел на фотографию Тамары и плакал, он нас очень любил. С тетей его брак, видимо, совсем разладился, и скоро его место занял Валентин Александрович. Мы, конечно, ничего не замечали и очень поразились, когда потом получили известие о разводе и новом замужестве тети. Мы были слишком молоды, а родители поглощены своим горем.

Прошел слух, что немцы взяли Ригу, началась паника, и все кинулись в город. Нас эта паника тоже заразила, мы собрали вещи и отправились в Нарву, все равно лето уже кончилось, был конец августа. Собирались сесть в вагон, как из прибывшего поезда вышел папа, который хотел несколько дней провести на море. Он был очень разочарован и разбранил за паникерство, Рига была достаточно далеко. Но

делать было нечего, корабли были сожжены, и мы вернулись в Петроград, чтобы вскоре отправиться в гораздо более дальнюю дорогу.

Родители после своей жестокой потери стали очень дрожать над нами, а в Петрограде жизнь становилась все тяжелее, то одно исчезало, то другое, была опасность вспышки сыпного тифа, неизвестно было, что будет с дровами, с хлебом. А тут пришло письмо от маминой подруги, Евгении Робертовны Кошко, которая с семьей еще летом переехала на Кубань, в Екатеринодар, отчасти из-за старшей дочери Нины, у которой начинался туберкулез и требовались особо хорошие условия и южный климат, отчасти потому, что Владимир Степанович был человек дальновидный и хорошо осведомленный¹⁸⁵. Он при последнем царском правительстве занимал пост товарища министра финансов, и новая политическая обстановка его не устраивала. Он хотел, видимо, переждать, как развернутся события, и взял место в Екатеринодаре. Говорили, что он был очень способный финансист и быстро делал карьеру. Тетя Женя, как мы называли ее с детства, очень любила маму и в письме уговаривала ее приехать на зиму на Кубань, где все в изобилии, тишина и спокойствие. Родители ухватились за эту мысль, тем более что многие стали уезжать из Петрограда. Нам пришлось всей семьей стоять чуть не суточную очередь за билетами в кассе предварительной продажи. С нами ехала и Анна Сергеевна с Ирочкой к матери в Харьков, и еще кто-то из знакомых, так что мы могли все время сменять друг друга. Мы даже получили билеты в мягком вагоне в отдельном купе, большой багаж сдали малой скоростью, с собой взяли кота Дымку и фоксика Долли, папа оставался в Петрограде, чтобы приехать к нам на рождественские каникулы. Уезжали мы 17 сентября, твердо веря, что покидаем Петроград только на зиму, а вернулись через четыре года.

Жизнь на Кубани

Поездка прошла нормально, и к вечеру после трехсуточного путешествия мы были в Екатеринодар на квартиру к Кошко, встреченные всегда гостеприимной тетей Женей. Они с Владимиром Степановичем представляли собой хорошо сжившуюся пару, оба на редкость некрасивые, внешне как будто суховатые, но активно добрые на деле, для нас они были помощниками во всех трудных случаях нашей эвакуации. Тетя Женя с раннего утра была на ногах, всегда все поспевающая. А хлопот было достаточно. С ними вместе приехала мать тети Жени Софья Ивановна Шван, прелестная старая дама. Вместе с Кошко приехала еще одна петроградская семья, две старые дамы, одна вдова, Пелагея Валериановна Балк, другая — старая дева, Мария Валериановна Меллер, их невестка с дочерью Вавой и немкой-гувернанткой, они поселились вместе, а тут еще мы свалились на голову, хотя и не неожиданно. Так что семья была большая, не считая самих четверых Кошко. Сняли они довольно большую квартиру, правда, полупустую, купили мебель самую необходимую, кровати, стулья, столы, все рыночное, в Екатеринодаре трудно было купить что-нибудь порядочное, даже у самых богатых людей обстановка была, по нашим понятиям, очень средняя. Конечно, было тесно, и о нашем длительном пребывании не могло быть и речи.

Наутро мы стали знакомиться с городом, разбуженные ни свет ни заря криками мальчишек-газетчиков под окнами: «*“Кубанский вестник” на завтра!*» Почему на завтра, а не на сегодня, было непонятно, но газеты всегда выходили «на завтра». Первое

впечатление было — изобилие. Уже за ужином мы были поражены, когда подали великолепную ветчину в большом количестве, мы уже забыли, как она выглядит. Город ломился от продуктов, а базар, первый южный базар, который мы увидели, показался сказкой, чего там только не было — и фрукты, и овощи, и мясо, и птица, связки баранок, белые громадные хлебы, арбузы, дыни, все спелое, красивое. Шум и гвалт были страшные, говор — полурусский, полуукраинский, люди веселые, приветливые. Но город казался страшно провинциальным, в сущности, это была большая станица. Город был разбит на правильные квадраты, улицы замощены были только в центре, дома только одноэтажные, реже двухэтажные, все особнячки с фруктовыми садами в середине кварталов, ближе к центру кирпичные, на окраинах — просто мазанки. Были и более затейливые особнячки местных богачей, главным образом армян, с верандами и балконами, украшенные безвкусной лепкой. На главной улице, Красной, несколько высоких многоэтажных зданий, гостиница «*Метрополь*», театр, бани и присутственные здания. На Соборной площади — собор, кончался город городским садом с летним театром и раковиной для музыкантов, рядом был музей имени местного мецената Коваленко с библиотекой. Были еще две женских гимназии, мужские, Институт благородных девиц, духовное училище, больница в противоположном конце города. Было еще очень жарко и пыльно. В городе имелись два вокзала, один для поездов из России, другой — Черноморский с поездами на Новороссийск, в разных концах города.

Город стоял на высоком, обрывистом берегу реки Кубани, которая его огибала, спуститься к реке было почти невозможно, дальше до реки тянулось плоское неблагодустроенное пространство, частично заросшее камышом, так называемые плавни, частично просто превращенное в городскую свалку. Река же была хотя и широкая, и глубокая, но с мутной водой коричневого цвета, горная река, хотя город и стоит на равнине. Горы были слабо видны на горизонте в хорошую погоду. Куда глаз хватал, простиралась бескрайняя, выжженная степь. Как мы потом выяснили, в городе хорошо было только весной, в апреле-мае, когда цвели фруктовые сады, которые опоясывали весь город, да осенью, в сентябре-октябре, когда деревья гнулись под тяжестью фруктов. Зима была короткая, но суровая, в январе-феврале с морозами до 20°, обилием снега и страшными ледяными ветрами, знаменитыми норд-остами. В марте шли дожди, и была непроходимая черноземная грязь, в ноябре — тоже. А летом — ни капли дождя и палящее солнце.

Лесов не было, за исключением так называемых Круглика и Закопа, небольших рощ с великолепными дубами, дикими яблонями и грушами, заросших ежевикой и терном. Был еще частный парк миллионера Роккеля, где гуляли благородные олени, он был открыт для публики. Это были места, куда выезжали местные жители погулять и спастись от жары, там была свежая зелень, тень и относительная прохлада, но все эти места были сравнительно далеко. По главной улице, соединяя оба вокзала, шел трамвай, летом с открытыми вагонами с лавками поперек, а кондуктор обходил пассажиров по приступочке, балансируя почти на весу, вагоны были старенькие, дребезжащие, но город был невелик и всюду можно было без особого труда пройти пешком.

Скоро оказалось, что квартиру в городе найти невозможно, столько понаехало народу, главным образом из Петрограда и Москвы. Местные жители стали тесниться и сдавать, что можно, извлекая неожиданные барыши, а настоящих доходных домов не было совсем. Но было сытно, дешево и пока спокойно. Областью правила Краевая Рада¹⁸⁶ с атаманом во главе, но что мы, конечно, не сразу разобрали, шла

уже глухая борьба между двумя частями местного населения, всегда антагонистически настроенными, — казачеством и так называемыми иногородними. Это были более поздние выходцы из России, рабочие, ремесленники, мелкие торговцы, гораздо менее зажиточные, чем казаки, не имевшие собственности в виде земли, разве что скромные домики. Были и богатые люди, русские и армяне, владельцы заводов, мельниц, с большими капиталами.

Нам посоветовали устроиться в пригородной станице Пашковской, соединенной с городом трамваем, минутах в сорока езды от центра. На самом деле путь оказывался более долгим, трамвайный путь был однопутным с разъездами, где встречные трамваи должны были ждать друг друга, что было всегда очень долго, иногда вагоновожатый терял терпение и, не дождавшись встречного, пускался в путь, затем пятился назад, не успевая достичь следующего разъезда первым, все это отнимало много непредусмотренного времени. В первый раз путь нам показался очень долгим и изводящим, потом привыкли относиться спокойно к трамвайным фокусам. У нас было письмо к семье главного врача Обуховской больницы доктора Эккерта¹⁸⁷, который еще раньше папы отправил жену и трех дочерей на благодатный юг, а сам остался в Петрограде.

Станица оказалась состоящей из очень длинной главной улицы и коротких боковых, выходящих прямо в степь; дома были маленькие кирпичные или просто мазанки с фруктовыми садами в глубине участка; на улицах, немощеных и без тротуаров, кроме как на главной, под всеми заборами лежали свиньи, а за заборами оберегались собаки, которые яростно лаяли и кидались на заборы при нашем появлении. Под ногами была глубокая пыль, которая обещала превратиться в непроходимую грязь при малейшем дожде, как оно и оказалось в скором будущем. В центре станицы была церковь, дом станичного правления и атамана, гимназия, кое-какие лавки. На какой-то боковой улице мы нашли семью Эккерт, состоящую из очень красивой дамы, Екатерины Николаевны, хорошенькой Зины, на четыре года старше меня, и двух младших, 15 и 16 лет, добродушных толстухек Нины и Веры, или Авы, как ее называли. Они нам обрадовались, как только могут обрадоваться изгнанники своим близким людям, сразу завязалась дружба как между матерями, так и между нами, нашлись общие знакомые и общие интересы. Наши матери казались нам почти пожилыми, а на самом деле это были совсем еще молодые сорокалетние женщины.

Нас накормили и напоили и повели искать квартиру. Скоро мы остановились на доме вдовы Ступак на одной из боковых улиц. Это был хороший кирпичный дом с железной крышей, во дворе была еще хата, где жила сама хозяйка с сыном. Как правило, у всех зажиточных казаков, а таких было большинство, всегда было по два дома, один на улицу, для парада, а другой для жилья во дворе. Чистота в доме была образцовая, полы хорошо покрашены, на окнах всюду ставни, мебель, конечно, рыночная, но все необходимое. Мы сняли две комнаты, одна в другую, и кухню, куда и переехали на следующий день. В доме была еще одна большая комната, «зал», и еще одна комната с плитой, их скоро заняли Эккеры, чтобы быть вместе и не чувствовать себя так одиноко.

Началась наша пашковская жизнь, довольно непривычная для нас. Хозяйка была мало любезная, хмурая женщина, которая очень боялась, как бы мы не испортили ее полы и стены и драгоценную «обстановку». Мы наняли и домработницу, девушку Феню, или Хвеню, по-местному, услужливую и добродушную, из семьи, жившей через дорогу, в первый же вечер ее мать прислала с ней целую миску жареных «пирожечков».

Скоро мы стали различать два типа женщин: высоких, сухих, суровых и мужеподобных, как наша хозяйка, и толстеньких, круглолицых, как наша Феня и ее мать, гораздо более приятных и обходительных. Трудно нам было с языком, все говорили на особом диалекте, все звучало сначала непонятно, вроде «зачиняйте хвиртку», что значило «закрывают калитку», и т. п., потом понемногу привыкли. Привыкли и топить плиту «кирпичами», или «кизьяками», из коровьего навоза, топили и сухими стеблями подсолнечника, которые давали сильный жар, но прогорали моментально, так что приходилось натаскивать их целую кухню, чтобы состряпать обед. Дрова купить было трудно и только дубовые, очень твердые, которые почти невозможно было распилить и наколоть. Дрова привозили из-за Кубани черкесы, у каждого казака был свой кунак-черкес, который и поставлял ему дрова. Черкесы были все рыжебородые, дикие, одевались и казаки, и черкесы почти одинаково, в черкески, только казаки выглядели всегда удивительно подтянутыми, все на них было хорошо прилажено, а черкесы — оборванными, грязными, газыри у казаков были расположены горизонтально, а у черкесов — наклонно, казаки на головах носили мерлушковые «кубанки», надвинутые на глаза, а черкесы ходили в мохнатых шапках. Мужчины-казаки были очень представительны, особенно старики, седобородые, степенные, вся грудь в медалях и орденах, много бывших конвойцев¹⁸⁸, видавших виды. Почти в каждой семье один из сыновей учился в столице в юнкерском училище, обычно в Михайловском кавалерийском¹⁸⁹, так как казак и лошадь друг от друга неотделимы, а затем выходили в офицеры.

Женщины несли всю основную работу по дому и в поле. Как ни странно, почти все молодые девушки употребляли белила и румяна, какая-то дань Востоку, причем это вовсе не говорило о легкомысленном поведении, наоборот, нравы были строгие. Наша Феня все ко мне приставала, чем я «пидмазываюсь», у меня был очень хороший цвет лица, но я даже пудры тогда не употребляла, а она считала, что я не хочу открыть ей свой секрет и обижалась. Она была славная девушка, без нее мы бы пропали, хотя бы с водой, которую надо было брать из водоразборных колонок на главной улице, но вода, как обычно, едва текла, и чтобы набрать ведро, надо было простоять часовую очередь, да еще нести ее целый квартал, не расплескав, у кранов был своеобразный женский клуб. Все это было так непохоже на жизнь не только в Петрограде, но и на дачах.

Жили в станице все очень богато, как и не снилось нашим крестьянам. **«Мы-то бедные, — говорила Феня, — у нас всего семь лошадей!»** А на вопрос, сколько у них гусей и уток, отвечала: **«А кто ж вин считает?»** Помимо дома в станице и сада, у каждого хозяина был хутор «на степу», где и было основное хозяйство — пшеница, подсолнухи, целые рощи выше человеческого роста, такая же могучая кукуруза, огороды, бахчи, скот, птица, летом туда выезжали всей семьей с раннего утра до позднего вечера и часто ночевали в зависимости от работ. А земля была такая, что об удобрении и не знали, все росло само. Дома оставалась хозяйка, которая топила русскую печь и с утра стряпала на весь день. Ели борщ или свежие щи, но какие! Туда валилось все, что под руку попадет, — кура так кура, гусь так гусь, свинина или, в худшем случае, сало, которое растиралось с чесноком особым деревянным пестиком. Затем клалась всякая зелень и громадные спелые помидоры. Делались пирожки из кислого теста и жарились на собственном свежайшем, ароматном подсолнечном масле, с самой разной начинкой — с картошкой, творогом, с капустой, с рисом, или совсем необычные, с горохом или фасолью, и елись со сметаной. Как

будто определенные часы для еды не соблюдались, кто когда хотел, тогда и ел, наливал себе борща, который целый день в печи был горячий, и брал из большого горшка пирожки, так действовали и взрослые, и дети, что-то я не видела всю семью вместе за столом. Очень странно было сочетание необычайной чистоты в домах и отсутствия личной гигиены. Баня была одна на всю станицу, индивидуальных бань, как у наших крестьян, не было совершенно, да еще в бане мылись вместе мужчины и женщины, что нас совершенно смутило, когда мы попробовали туда пойти, такая была простота нравов. А мать одного нашего соседа говорила, что она последний раз мыла голову перед своей свадьбой, а у нее были уже взрослые внуки. С водой было плохо, и ее берегли, хотя и был водопровод, летом было очень сухо, и на дождь рассчитывать было нельзя, весной и осенью набирали дождевую воду в бочки, поливали только огороды, все остальное — бахчи, кукуруза, подсолнухи — несмотря на отсутствие влаги, буйно росли без полива. Мимо станицы текла река Карасун, приток Кубани, но с топкими берегами, для купанья недоступная, весной оттуда раздавался несмолкающий хор лягушек, им там было раздолье. Гулять было негде, разве что просто по степи, но трава была осенью совсем высохшая и мчались перекатиполо, которые нас очень забавляли. Вечера были совсем теплые до конца ноября, все население вечером сидело на завалинках, часто мужчины пели, очень приятно, всегда на два голоса, никогда не было слышно, чтобы «кричали» песни, как в русских деревнях, часто пели и в трамвае, совсем тихо, очень музыкально.

Понемногу мы стали устраиваться, пришли вещи, посланные малой скоростью, ничего не пропало. Таня, Нина и Ава поступили в гимназию, я открыла для себя рисовальную школу и записалась туда. Мы с Эккертами все более сближались и уютно проводили вечера, ели пироги с повидлом, рассказывали друг другу о себе и вспоминали петроградскую жизнь, но чувствовали себя в изгнании. Помню, сочинили стихи: **«В дурные ночи будет сниться нам домик госпожи Ступак, собак голодных вереница, Дементий, сын ее дурак... в доме стужа, холодный ветер за окном и преогромнейшая лужа, как раз при входе в этот дом. Послать бы папе телеграмму, возьми из Пашковки скорей, живот совсем замучил маму, о пожалей своих детей!»** Погода испортилась, начались дожди и такая непроходимая грязь, что увязали галоши, кое-где лежали доски, кое-где камни, но ходить по ним надо было с акробатической ловкостью даже днем, а уж в темноте совсем было плохо, освещение было только на главной улице.

Утром бежали к трамваю, чтобы успеть на занятия, трамваи ходили переполненными, население Пашковской сильно увеличилось, мы ездили сперва в конец станицы, а потом уже обратно в город. Трамвай сделался своего рода клубом для приезжих, где легко завязывались знакомства, скоро все друг друга знали хотя бы по виду. В Екатеринодар был эвакуирован Отдел зернохранилищ Государственного банка с большим штатом инженеров, все были с семьями, со многими мы познакомились и сблизились, всех так и тянуло друг к другу. Видимо, и весь Государственный банк был переведен в Екатеринодар, во всяком случае, маме удалось там получить все наше столовое серебро, которое она, как всегда, на лето сдала на хранение и в Петрограде получить не смогла, этот отдел был закрыт.

В трамвае же Зина познакомилась с Женей Арской, и началась наша тесная дружба и с этой семьей, с которой мы делили все невзгоды нашего изгнания. Семья Арских состояла из матери Марии Андреевны, старшей дочери Жени, юнкера Максима, который был с училищем эвакуирован в Екатеринодар, шестнадцатилетней Нади и кадетика Юры, ровесника Тани. Отец, полковник в отставке, остался в Петрограде,

как-то незаметно туда уехал и Максим, и хорошо сделал, не попав во все передраги, как его однокашники. Семья была сугубо военная из поколения в поколение, несколько чуждая нам по духу, но очень хорошая. Это была удивительно неунывающая семья, веселая, остроумная, с неисчерпаемым запасом оптимизма и юмора. Я никогда не была еще в такой веселой компании, были бесконечные розыгрыши друг друга, всяческие затеи и приключения. У Арских всегда толпились товарищи Максима по училищу, которые находили здесь ласку и домашний уют, все это были юнцы, оторванные от собственных семейств, помимо своей воли втянутые потом в белое движение, тут сыграло роль и воспитание в кадетских корпусах, и семейные традиции, и просто неумение разобраться в исторической обстановке в 18–19 лет, и как дорого они за все это заплатили!

Общей любимицей и другом была Женя, некрасивая, но необыкновенно темпераментная и живая, умеющая найти подход к любому человеку и сделаться его другом и поверенным, очень артистичная, выдумщица всяких развлечений, но вместе с тем и достаточно глубокая. Хороший мальчик был Юра, ласковый и нежный с матерью и сестрами. Он трогательно привязался к Тане, своей сверстнице, это была его первая любовь, взаимности он не получал, но пара эта была дружная.

Так что мы не скучали. Массу читали, набирая книги в городской библиотеке, вырывая их друг у друга, увлекались стихами: Блоком, Ахматовой, Брюсовым, менее значительными, как Инбер¹⁹⁰, Павлова, Лесная¹⁹¹. Женя писала очень неплохие стихи, пытались издавать журнал. Женя и Зина имели уже некоторый жизненный опыт, они обе работали сестрами в лазаретах в Петрограде, Женя ездила на фронт с санитарным поездом, у нее был жених в плену в Германии, что не мешало ей увлекаться то одним, то другим — она пользовалась большим успехом, Зина тоже. Я была еще совсем зеленая, но слушала их рассказы с интересом.

Моим главным интересом стала рисовальная школа, давшая мне в смысле овладения ремеслом очень много. Это была типичная провинциальная школа, но обеспечивавшая солидную подготовку в высшие художественные заведения для наиболее способных. Во главе ее стоял пожилой местный художник Петр Степанович Краснов, по виду — типичный передвижник, с бородкой клинышком, сам не давший ничего выше ординара, но энтузиаст своего дела, могущий научить грамоте в рисунке и живописи. Училище занимало отдельный дом и было хорошо обеспечено гипсами и всем необходимым инвентарем. Классы состояли из двух больших залов, был еще кабинет и канцелярия Петра Степановича, с дверью в его квартиру, где он жил со своим семейством, так что он всегда был на месте. В это время очень увеличилось количество учеников за счет приезжих, вечерами приходили рисовать гимназисты и гимназистки и основные ученики, которые хотели посвятить себя живописи, среди них и способные. Работали много, утром с 9 до 12 была живопись, акварелью или маслом по желанию, с 6 до 9 вечера — рисунок. Все учащиеся делились на группы: по рисунку на группы орнамента, масок, голов, портрета, фигур и натурщиков. По живописи были группа натюрморта и группы портрета. Никаких оценок и экзаменов не было. Время от времени Петр Степанович, присмотревшись к ученику, брал его за руку и переводил в другую группу, так я дошла за полтора года до фигурного класса. Работали усердно, не отрываясь на болтовню. Мне ездить из Пашковской два раза в день было очень тяжело, и всегда был соблазн второй раз не ехать, но обычно я себя пересиливала и не жалела потом. Когда приехал папа, он меня обычно встречал с фонарем на остановке.

Объявлялись конкурсы на композицию на разные темы с премиями из фонда, завещанного тем же меценатом Коваленко. Раз я была очень горда, когда получила 10 рублей за эскиз на тему «*Любопытные*», второй раз получила 25 рублей за иллюстрацию к сказке Уайльда «*День рождения маленькой инфанты*», устраивались и периодические выставки самостоятельных работ, много было любопытных и своеобразных, как вспоминается. Ученики были довольно некультурные местные юноши, но полные энтузиазма и очень самобытные.

Для эскиза «*Любопытные*» я использовала воспоминания о Петрограде, по которому очень скучала. Я изобразила набережную и стоящих спиной людей, что-то наблюдающих в воде, вдали в туманной дымке дома.

Школа очень оживилась, когда там появился петроградский художник Александр Петрович Мочалов, случайно занесенный в Екатеринодар после окончания Академии с заграничной поездкой, которую нельзя было осуществить из-за войны. Его дипломная работа «*Рыбаки*» была напечатана в каком-то журнале и была в характере работ Шухаева¹⁹² и Яковлева¹⁹³, видимо, он был интересный художник. Быстро он стал кумиром учеников, хотя педагогика его мало интересовала, обычно он говорил: «*Уходите скорей, я сам работать хочу*», но он показывал свои работы, и это было очень важно, Петр Степанович ничего показать не мог. Погиб он трагически и героически, спасая, в сущности, уже мертвого человека, что сделало его смерть особенно бессмысленной. В школе была кочегарка центрального отопления в подвале с узкой крутой лестницей. Александр Петрович жил в школе, поэтому кто-то и прибежал к нему с известием, что кочегар давно не выходит. Не долго думая, он попытался спуститься в подвал, один раз не смог, задохнулся от угарного газа, но, несмотря на уговоры, пошел второй раз и не вернулся, обоих извлекли мертвыми. Хоронили Александра Петровича всей школой и с искренними слезами. Он был высокий, длинный, наголо обритый, некрасивый, простой, без всякой позы, вероятно, ему было около тридцати лет или немного больше.

Как-то он устроил свою выставку с обсуждением, причем ученики не стеснялись и говорили, что думали. Незадолго до приезда в Екатеринодар он перенес суставной ревматизм, некоторое время не мог ни рисовать, ни писать, теперь навестывал. «*Знаю, что для такого вот эффекта надо сделать такое вот движение — и не могу его сделать*», — рассказывал он. Больше было рисунков, живопись я плохо помню, но рисовальщик он был сильный, особенно мне понравились карандашные рисунки деревьев, хотелось самой так рисовать деревья. В рисунках с натурщиков у него была энергичная манера со штриховкой поперек формы. Была репродукция с дипломной работы «*Рыбаки*», а также много эскизов к задуманной картине с характерным для первых лет революции названием: «*Мы наши, мы новый мир построим*» — группы работающих на стройке людей. Он был одинокий человек, видимо, совершенно равнодушный к материальным благам, имущества никакого не имел, кроме кистей и красок, искусство было его единственной страстью и целью.

В городе скоро была объявлена советская власть. Мы с мамой быстро собрались в город к нашему прибежищу в трудную минуту — на квартиру к Кошко, где и прожили несколько первых дней. На второй день пришли с обыском несколько человек, один с пулеметной лентой, другие с ручными гранатами, спрашивали, нет ли оружия, но, увидев такое количество пожилых женщин и детей, махнули рукой и ушли. Арские оставались в Пашковской, и у них чуть было не кончилось неприятностью, а может быть, и чем-нибудь большим. Юра, со свойственной мальчикам страстью к оружию,

насобирал патронов; Женя благоразумно решила их выкинуть, набрала полные руки патронов, к счастью, накинула пальто, как в дом вошли с обыском, она так и замерла на месте и пережила довольно неприятные минуты, но, к счастью, ничего не уронила на пол. Эккеры отсились в городе у брата Екатерины Николаевны.

В станице не обошлось без эксцессов: расстреляли атамана, священника и почему-то одного из сотрудников отдела зернохранилищ, оставившего троих дочерей и жену. Что было в городе — не знаю, мы носа не высовывали, знали только, что Рада была распущена. Заблаговременно многие офицеры и юнкера ушли из города, начался так называемый «Ледовый поход», участники его, которым удалось уцелеть, потом носили эмблему в виде тернового венца. Вернувшись в Пашковскую, мы нашли уже полную тишину, но многие казаки ушли также, а оставшиеся сидели, притаившись. Власть была у иногородних.

Перед Рождеством неожиданно приехал папа, совсем измученный дорогой, которая была ужасна, ехал он чуть ли не на крыше. К счастью, был почти без вещей, взял только самое необходимое, кое-что для работы, часть своих записных книжек, в твердой уверенности, что вернется через две недели. Квартиру запер и ключ отнес бабушке. В это же время приехал и доктор Эккерт, перенесший такие же мытарства, приехал совсем невменяемый. А обратно было уже нельзя, поезда перестали ходить.

Волей-неволей папа остался, возник вопрос, как мы будем дальше существовать, денег, привезенных папой, не могло хватить надолго. Те же вопросы возникли у Эккертов и у Арских. Зина и Женя вскоре нашли работу в каком-то скучнейшем статистическом бюро, поступила на работу в какую-то канцелярию и Екатерина Николаевна, хотя раньше никогда не служила. Мы отпустили Феню, мама все стала делать сама, выучилась справляться с мангалом (так называлось ведро, обмазанное глиной и наполненное древесным углем), стала жарить пирожки и делать борщ. Понемногу начали распродавать ненужные вещи, к Фене перешло мое белое крепдешиновое платье, сшитое мне к выпуску из школы. В Пашковской его все равно надевать бы не пришлось. А Феня его спрятала в сундук в надежде на свадьбу. Пока что я продолжала ездить в рисовальную школу, а девочки и Юра — в гимназию. Один знакомый инженер устроил меня к себе секретаршей в учреждение с длинным и непонятным названием, делать мне почти ничего не приходилось, разве что написать одну бумажку в день, скука была ужасная, я с трудом отсиживала свои 6 часов, но получала зарплату, сделалась кормильцем семьи, как говорили родители. Настала волшебная весна, мы в свободные вечера всей компанией валялись с книжками в саду, потом наступила жара, нас изводили мухи, блохи и подобные южные удовольствия.

Опять пошли слухи о возможных переменах, теперь они исходили от наших соседей-казаков. Мое учреждение начало понемногу сворачиваться. Со стороны Новороссийска стала доноситься дальняя канонада, потом все слышнее, затем вдруг прекратилась. Как мы потом узнали, это было корниловское наступление, и кончилось оно внезапно, когда снарядом был убит Корнилов¹⁹⁴. Опять все затихло.

Папа, конечно, не сидел без дела, кое-что писал и думал, чем бы ему заняться. Ему пришло в голову начать организацию в Екатеринодаре высшего технического учебного заведения, которого там до сих пор не было, используя свой опыт работы в Женском политехническом институте. Он правильно учел, что в Екатеринодаре скопилось много опытных инженеров, местных и приезжих, было даже несколько столичных профессоров, томившихся без дела, а также много молодежи, окончивших

школы в этом году и никуда не смогших поехать для продолжения образования, да и многие студенты вернулись домой из Москвы и Петрограда. Со свойственной ему энергией он предпринял первые шаги, чтобы заинтересовать своей идеей Исполком и Наркомпрос, и успешно. Папа был очень доволен первыми переговорами и говорил, что даже не думал, что с большевиками так хорошо работать, так все просто, никакой казенщины, полное понимание и готовность во всем идти навстречу. Переговорил он и кое с кем из знакомых инженеров и с местной интеллигенцией, патриотами своего края, который действительно нуждался в местном политехническом институте, особенно в данной ситуации, когда ослабла связь с центром.

5 апреля 1918 г. было утверждено Комиссариатом юстиции Кубано-Черноморской советской республики Общество попечения о Политехническом институте. 16 июня съезд Совета народного образования постановил открыть в Екатеринодаре Политехнический институт.

Но тут опять началась дальняя канонада, на этот раз более интенсивная, и уж об организации института не могло быть и речи, дела были более серьезные.

Скоро стало ухать уже со стороны города, совсем близко. Мы засели у себя дома и боялись высунуться. Таня рвалась к Арским, которые жили за углом на главной улице, наконец ей разрешили к ним сбегать, папа пошел за ней следом и вдруг, только она завернула на главную улицу, снаряд разорвался совсем близко, начался обстрел станицы, город был уже взят. Таня перепуганная побежала домой и согласилась сидеть дома, если ей дадут читать *«Войну и мир»*. Папа вдвинул в угол за печку обеденный стол, положил на него матрасы и пытался нас там засадить, но было очень неудобно и душно. Мы никак не могли принять ситуацию всерьез, даже папа был наивен до предела. На улице поднялся страшный шум, крики, стрельба, топот ног, кто-то открыл снаружи ставню, папа не нашел ничего лучше, как высунуться в окно и закричать: **«Закройте ставню!»**, когда на улице шел рукопашный бой. Уж не помню, как прошел этот тревожный день, ночью все было спокойно, а наутро вся станица оказалась полной белыми войсками, которые занимали на постой дома. Казаки были довольны; что делалось в городских кварталах, где жил рабочий люд, не знаю, думаю, неблагоприятно для тех, кто не смог или не хотел уйти с красными войсками.

К осени, когда все стабилизировалось, папа опять взялся за проведение в жизнь своей идеи, считая, что институт нужен независимо от того, кто находится у власти, и обратился теперь уже в Городскую управу и Краевое правительство, к отцам города. Нашел там тоже сочувствие, особенно ему помогал Палладий Васильевич Мионов, местный старожил и общественный деятель, он и его жена-учительница были прекрасными образчиками демократической местной интеллигенции, которой было не так мало в городе.

И вот мы с папой уже сидим в комиссии по приему студентов, папа председателем, я — секретарем, заявления несут и несут. Приехал по вызову из Геленджика известный профессор математики Н.А. Шапошников, — но без Вяльцева! — и согласился быть первым ректором Северокавказского политехнического института; папа был назначен проректором и, конечно, нес львиную долю организационной и административной работы. Да еще он был деканом электромеханического факультета и профессором по курсу физики. Теперь уж он не бездействовал и был очень доволен. Институту дали хорошее здание бывшего Коммерческого училища, хорошо оборудованное для учебных целей.

Для меня лично, как папа шутил говорил, был организован и архитектурный факультет, или, вернее, архитектурное отделение строительного, так как оказались налицо и необходимые преподаватели архитектурных дисциплин: Александр Александрович Юнгер, архитектор отдела зернохранилищ, только что окончивший Академию художеств, а до этого институт гражданских инженеров, и архитектор-художник Андрей Петрович Вайтенс¹⁹⁵, потом к ним примкнули Кричинский¹⁹⁶, строитель мечети в Петрограде, и А. П. Орлов, тоже недавно окончивший архитектурный факультет Академии. Особое значение имел среди них Александр Александрович, талантливый архитектор, блестящий рисовальщик, великолепный график, карикатурист — сотрудник «Сатирикона»¹⁹⁷, широко образованный человек. Хотя до этого времени он никогда не занимался преподаванием, он оказался и прекрасным педагогом, сумевшим заразить своей любовью к архитектуре и своих первых учеников. Тонким художником был и Андрей Петрович Вайтенс, с большим практическим опытом, но, благодаря своей природной скромности, удивительной деликатности, как-то стусевавшийся; мы, учащиеся, недостаточного его оценили и только впоследствии поняли, какой это был прелестный человек и как много мы от него получили. Кричинский не завоевал популярности, он был совершенно лишен личного обаяния, что так важно в педагоге, хотя и имел большой творческий опыт. Внешне он был редкостный урод. Орлов был человеком случайным и мало имел значения, да и появился он позднее, архитектор, по-видимому, он был посредственный, а то, что и знал, не умел передавать. Александр Александрович имел еще и дар зажигательной речи, умел и любил говорить и рассказывать о своих собственных ученических годах, о своих учителях, товарищах, художниках, о художественной жизни Петрограда, о работе в «Сатириконе», где он сталкивался с интереснейшими людьми, все это мы слушали, раскрыв рты и впитывали в себя, как губки, открывая для себя целый новый увлекательный мир. В общем и он, и Андрей Петрович отдали нам себя целиком, со всей щедростью. К тому же они оба, в сущности, бездействовали без настоящей архитектурной работы и с массой свободного времени. Учебных часов не соблюдали, а просто приходили с утра и проводили с нами весь день, иногда заходили еще вечером, находясь с нами в постоянном активном общении. Известная трудность была в отсутствии необходимых пособий и книг, у каждого было что-то привезено, но все, что было, поступило в наше распоряжение. Были «Ежегодники», «Историческая выставка архитектуры», ордера Мауха, Виньола¹⁹⁸, листы Пиранези¹⁹⁹, номера «Старых годов»²⁰⁰ и «Мира искусства»²⁰¹, книжечки «Italia monumentale»²⁰².

В городе архитектура, во всяком случае классическая, полностью отсутствовала, колонны можно было увидеть только на маленькой часовне у больницы, единственном старинном сооружении, но совершенно провинциальном (коринфские капители откладывались только два раза в фусте колонны), но за неимением другого мы это зданье и обмеряли, и зарисовывали. Наши преподаватели учили нас всему с азов — и чертить, и отмывать, и рисовать, и строить тени и перспективу, потом дошли и до композиции. Попутно давались сведения по истории искусств и архитектуры. Александр Александрович обо всем рассказывал с карандашом в руке и что нельзя было показать в натуре или на репродукции — тут же рисовал. Показывал он и собственные рисунки, особенно хорошо он рисовал портреты, в большом альбоме, очень мягким свинцовым карандашом, широко пользуясь резинкой и растушкой, эту манеру мы старались у него перенять. Андрей Петрович

зато мог рассказать, что он видел в природе за границей, в Италии, Франции, в этом было его преимущество. Александр Александрович нигде не успел побывать, хотя и получил за дипломный проект заграничную поездку, но, увы, использовать ее было нельзя. Впечатлений у нас было много, и неудивительно, что мы пропадали в институте до позднего вечера. Я забыла об обедах, жаль было терять время на поездки в Пашковскую, а просто бежала в ближайшую бараночную и покупала связку баранок и съедала их, запивая водой. Лекции читались тоже на очень высоком уровне. Математику читал сам Шапошников, практические занятия вел его ассистент Неметти, который сумел показать, что математика — интересная наука. Папа читал физику. Для специальных предметов были хорошие специалисты из инженеров Отдела зернохранилищ — Чуприков, Подольский, Ишунин, из местных — Веригин и др.

Архитектурная группа была небольшая и довольно текучая, но скоро образовался основной костяк, остававшийся неизменным. Очень тесная дружба завязалась у меня почти сразу с толстенькой очкастой Таней Сквориковой, учившейся со мной в Петрограде, из которой потом получился очень талантливый художник, график и офортист, и Варсеник Варданиян, необычайно худенькой, грациозной девушкой с седой прядью в черных волосах, способной буквально ко всему. Мы стали неразлучными, и нас все знали, а профессора называли, как рассказывал папа, «**Скворикова, армяночка и Лидочка**». Потом к нам присоединилась Нина Апостолова, дочь директора Пашковской гимназии, с которой я тоже познакомилась в пашковском трамвае. Она проучилась год или два в Москве. Несколько позже пришли Соня Забелло, мой будущий муж Виктор Твелькейер, которого мы сперва называли «**высокий студент с трудной фамилией**», Мирон Мержанов, красивый армянин, весельчак и балагур, ходивший со стеклом и в желтых крагах, старше нас, Вартер, студент Академии художеств, несколько девочек и юношей, окончивших местные гимназии. Таня и Варсеник были коренные екатеринодарские, жили в тогда еще благоустроенных домах с налаженным бытом, с большими семьями, у них было приятно бывать, вспоминая прежнюю нормальную жизнь. Затем в чертежную пришла очень милая пара, Витольд Смукрович и Оля Петровская, муж и жена, на вид совсем еще дети, мы их прозвали «Кай и Герда». Первое их появление было очень эффектное, он — красивый блондин, с головой, как у Аполлона Бельведерского, поляк, она — тоненькая, с красным бантом на голове, и оба босые, у него под мышкой — большая дыня, у нее — портфель с котятками. Мы просто не знали, что с ними делать, как их устроить. Жить им было негде, ютились они где-то в садах, питались одними фруктами, на большее не хватало случайных заработков, хотя Туз не гнушался никакой физической работой. Оба были из Петрограда, Оля была дочерью известного физика Петровского²⁰³, они успели исколесить пол-России, пока не прибились в Екатеринодар. Ко времени их появления институт уже переехал в менее формальную обстановку в гостиницу «*Метрополь*», и они стали жить тут же в чертежной, пока не нашли себе комнату. Варсеник, которая все умела, обучила Туза сапожному мастерству, и он сшил себе и Оле какую-то обувь. У обоих были золотые руки и много вкуса, так что они стали рисовать диаграммы, этикетки — все, что им доставали наши преподаватели, все в них приняли участие. Туз был чудесный парень, неунывающий, добродушный, своей красотой совсем не кичился, вернее, ее просто не замечал, Оля была немного капризуля и им командовала. Компания у нас была пестрая, но очень дружная.

Первый учебный год прошел нормально, но к концу его стали над нашим институтом собираться тучи. В Краевом правительстве образовалась оппозиционная группа, не хотевшая мириться с тем, что институт был организован на общественных началах, сыграло роль и то, что начало было положено при кратковременном существовании советской власти на Кубани. В конце февраля вышло постановление об открытии правительственного Кубанского института, что и было сделано, так что создалось странное положение одновременного существования двух институтов одинакового профиля. Создавшаяся ситуация дала повод С. Я. Маршаку, находившемуся тоже в Екатеринодаре²⁰⁴, поместить в газете «Утро Юга» (за 15 февраля 1919 г.) фельетон в стихах «Кубанский дуализм»: «Здесь политехникума два / Открыли аудитории, / А если правильна молва — / И две консерватории» (Лиман М. М. Ученый, изобретатель, педагог Б. Л. Розинг // Советский педагог. Краснодар. 1969. 8 мая.)

Папе это испортило много крови, институт ведь был его детищем. В конце лета была образована согласительная комиссия, и оба института летом 1919 г. объединились. Мне он об этом написал в Геленджик. Это письмо интересно привести целиком:

Тебе, конечно, интересно знать, что наши институты объединились. Согласительная комиссия пришла к соглашению, и теперь остается только формальность — принятие его Советом правительства. Идейная победа осталась за нами, т.е. наши принципы приняты. Именно приняты наши факультеты в нашем составе (с оговоркой, что химический и горный принимаются на 1919–1920 год, о дальнейшем последует решение уже объединенного Совета), затем приняты наши ступени (средняя и низшая будут называться средний и низший техникумы — структура остается прежняя), принят состав Совета из профессоров, доцентов, преподавателей, читающих не менее 4 лекций, и 24 остальных лиц по выбору факультетов, наконец, приняты наши условия приема без ограничения сословий и происхождения. Местным жителям будет отдаваться предпочтение только при прочих равных условиях.

Но что касается дальнейшего, то вследствие того, что «промышленники» от нас по этим пунктам отступились, мы понесли поражение. Институт будет называться Кубанским, затем произойдут переборы нашего учебного персонала. В последнем виноват Шапошников; своей неприличностью и покровительством таким проходимцам, как Бурмистров, он подорвал научный авторитет нашего состава. Переборы в согласительной комиссии будут распространены только на наш состав — правительственные все входят в новый институт почти без исключения (за исключением двух). Шапошников теперь кается в своей недальновидной политике и просил у меня извинения, так как у нас с ним из-за Бурмистрова был ряд столкновений. Бурмистров чувствует, что его песня спета и, кажется, хочет перебраться во Владикавказ. Возможно, что при его ловкости ему удастся пустить пыль в глаза, воспользовавшись нашими идеями, т.к. своего у него ничего нет. На вашем факультете реформы института не отразятся, так как у них такого нет, и вы со всеми преподавателями (за исключением, вероятно, Бурмистрова) войдете в новый. В отношении средств, прочности положения, всяких прав и преимуществ вы, бесспорно, выиграете.

У нас все по-старому и благополучно. Не торопитесь приезжать; наверное, в Геленджике с каждым днем, чем ближе к осени, тем становится лучше. Целую тебя и Танюшу. Всем кланяюсь. Мама тоже целует и кланяется. Твой папа. 6 августа 1919. Вспоминали ли вы сегодня нашу дорогую Тamarочку? (это был день ее рождения).

Из письма видно, как папа боролся за свои принципы и близко принимал их к сердцу. Кто был Бурмистров, вызывавший к себе такую неприязнь, не помню, но папа, при всем своем миролюбии, мог и остро ненавидеть, если человек этого заслуживал, особенно он ненавидел карьеристов и проныр, а тот был, видимо, таковым.

Папа оставил проректорство, но остался профессором и был избран на должность декана химико-технологического факультета. Ректором остался Шапошников.

Пока папа вел утомительную борьбу за свое детище — институт, мы с Таней блаженствовали в Геленджике, наслаждаясь морем и солнцем, не таким палящим, как в Екатеринодаре, на большой даче, которую сняли Кошко. Была там и вся моя институтская компания, и Александр Александрович с женой Евгенией Конрадовной. Они все жили коммуной, и я у них пропадала. У Кошко было невесело, старшей дочке Нине становилось все хуже, ей уже было запрещено вставать, и ее утром выносили с кровати на балкон, где она лежала неподвижно до вечера. Тетя Женя бодрилась и уходила от тяжелых предчувствий в хлопоты по дому, но на Владимира Степановича жалко было смотреть. К этому времени он перебрался на работу в Новороссийск, раз в неделю приезжал к семье и не отходил от Нины, которая всегда ждала его с нетерпением: **«Папа придет и будет мне все-все рассказывать, он и маме многое не говорит о своих делах, а мне расскажет»**. Опасения сбылись, и зимой она умерла от уремии в 17 лет, а все началось с ушиба спины на гимнастике в школе. Потом они все уехали за границу, и мы о них больше ничего не слышали. Перед окончательным переездом в Новороссийск они оказали нам еще одну услугу — оставили нам свои комнаты в городе и всю обстановку, довольно незатейливую, но необходимую, ведь у нас не было даже стула. Комнаты были на Медведовской улице, недалеко от Красной, в двух кварталах, две большие комнаты с отдельным ходом, с передней, где можно было стряпать, с ванной и городской уборной, общими с хозяевами. Правда, вода почти никогда не шла, но иногда можно было набрать воду в ведра. На окнах были внутренние ставни, а не наружные, как в Пашковской, которые надо было каждый вечер закрывать, выходя в любую погоду, в общем — полный комфорт, мы себя почувствовали в раю, самое главное — не надо было ездить на трамвае и тратить массу времени зря, мы почувствовали великое облегчение и чувствовали себя почти счастливыми. Почти — так как даже нас, молодежь, не покидало чувство оторванности от Петрограда, от родных, о которых мы ничего не знали. Я так скучала по Петрограду, что постоянно видела во сне, что мы возвращаемся, улицы, нашу квартиру, а дела были таковы, что даже слабой надежды на конец нашего изгнания не было, это приводило в отчаяние. Вот заехали! Никакая сытость не компенсировала, хоть голодать, но вернуться! Хотя голодать нам тоже пришлось, да еще как, но это позднее.

Эккеры тоже переехали в город, в Пашковской оставались одни Арские, перед переездом мы некоторое время жили с ними в одном доме. Неожиданно приехал старший сын Глеб, который во время войны был на Кавказском фронте, теперь он оказался адъютантом генерала Бичерахова, пребывал где-то на Северном Кавказе и часто появлялся у своих. С ним стало в их семье еще веселее, он был такой же живчик, как и они все, вечно что-то придумывал для общего развлечения, доставалось и мне, которую он любил дразнить из-за моей, якобы, степенности и добротели. Помню, раз выхожу я из пашковского трамвая, а меня под руку берет какой-то казак с рыжей бородой, я чуть было не дала ему пощечину за такую вольность; как вдруг откуда ни возьмись высыпали Женя, Таня, Надя, Юра в полном восторге. Глеб специально к этому приезду отрастил себе бороду, чтобы все это разыграть, но отношения у нас были, как у близких родных, и мы друг на друга не сердились. Вместе мы мечтали о Петрограде; они тоже ничего не знали о своих, ни об отце, ни о брате.

Появлялись иногда товарищи Глеба и Макса, теперь уже офицеры, помню многие душевные разговоры, у всех была одна мечта, чтобы как-нибудь все это кончи-

лось, оптимизма не было ни у кого из этих совсем молодых людей, почти мальчиков, выброшенных в бушующее море без всякой надежды на спокойную пристань. Привозили грустные известия о других: тот убит, тот спился совсем, тот стал наркоманом не от хорошей жизни. Мне стал оказывать большое внимание один Женин со-служивец, который был ранен в ногу и находился на длительном лечении в Екатеринодаре. В армию он попал с четвертого курса математического факультета Петроградского университета, в Петрограде остались у него мать и сестра. Ему было лет 28, достаточно, чтобы правильно оценивать обстановку и не иметь никаких иллюзий. В течение нескольких недель он встречал меня утром у пашковского трамвая, а вечером у института и провожал до дому, не имея никаких надежд на взаимность, так как я была полностью поглощена занятиями. Затем нога его поправилась, и ему пришлось уехать в Севастополь и вновь тянуть военную лямку. Он взял с меня слово, что я сообщу ему, если вздумаю выходить замуж за кого-нибудь, я охотно его дала, не имея таких намерений. Некоторое время он писал грустные письма, потом пропал. Одно время у нашей хозяйки жили два офицера из Польского легиона, оба тоже из Петрограда, два друга, пан Карлович и кн. Оболенский, очень милые, воспитанные люди, оба оставившие семьи в России и охотно гревшиеся в нашей семье, потом их тоже куда-то перекинули. В общем, милые люди появлялись и исчезали навсегда.

Были и другого типа юноши, авантюристического типа, с жаждой приключений, к таким принадлежал Коля Соколов, довольно яркая личность, оставивший заметный след в нашей компании. В основе он был неплохой, привязчивый, ласковый, неглупый, но его совершенно развратила военная среда, в которую он попал прямо из корпуса. Он был влюблен в Женю, а она совсем без ума от него. Внешне он был очень привлекателен, высокого роста, с какими-то удивительно мягкими движениями, как мы про него говорили: «**Коля ходит, как тигр**». Лицо у него было круглое, некрасивое, с неопределенными чертами, с большим ртом, но удивительной красоты серыми глазами с длинными ресницами, и обаятельной улыбкой, типичный покоритель женских сердец, женщины, вероятно, его и испортили. Наша Таня в свои 13 лет в него влюбилась и молча страдала. Он уговаривал Женю выходить за него замуж, но она была достаточно благоразумна, чтобы на это не пойти. Терпела она от него и так достаточно, то видеть его не хотела, то все прощала. В первый период советской власти Коля остался в Екатеринодаре, сперва пропадал где-то, потом объявился в матросской форме, к ужасу взрослых, ведь хозяйева его хорошо знали и помнили юнкером. Женя его практически прятала, несмотря на протесты матери, когда он ночевал в сарае в саду. При белых он сбросил свой маскарад и появлялся открыто, опять исчезал, в общем, трепал бедной Жене нервы. Но при окончательном утверждении советской власти опять не ушел и скоро был арестован и, видимо, расстрелян. Как видно, наша пашковская жизнь была не без волнений и переживаний.

Я так была увлечена институтом, что несколько отошла от всех, приезжая домой только к вечеру.

В нашей архитектурной группе были свои события и переживания. Дело в том, что военное командование объявило закрытый конкурс на проект Военного училища. Работа была предложена троим: Юнгеру, Вайтенсу и Кричинскому, которые, изголодавшись по архитектурной работе, ухватились за нее с жадностью. Конечно, мы знали, что без нас не обойдутся, и ждали с нетерпением, когда нас позовут помогать, конечно, каждая из нас мечтала помошничать у нашего кумира.

И тут со мной случилось неожиданное: в институте ко мне подошел Кричинский и предложил мне начать работать у него, от неожиданности и смущения я не сумела отказать и согласилась. Александр Александрович был искренне огорчен моей «изменой», но дело было сделано. Таня и Варсеник стали ходить к нему работать домой и разрывали мне сердце при встречах, особенно Таня, которая, захлебываясь, описывала, как все интересно, какой замечательный проект, какой Александр Александрович очаровательный дома, как он все показывает и учит их. А я начала ходить к ненавистному мне Кричинскому и чертить какие-то бесконечные окна на длинных фасадах, казавшихся мне безнадежно скучными, в полном одиночестве: Кричинский по утрам задавал мне работу, потом исчезал, приходил к концу дня и вносил поправки. У него была очень милая жена, дочь Глеба Успенского²⁰⁵, очень интеллигентная дама, которая поила меня чаем и разговорами скрашивала мое одиночество. Наш кротчайший Андрей Петрович на нас не смел и рассчитывать и пригласил к себе двух мальчиков. Так длилось некоторое время, вечерами я ходила рисовать в рисовальную школу. Однажды Александр Александрович пришел туда, подошел ко мне и предложил пойти с ним к нему домой, чтобы вычертить какой-то другой заказ. Я, конечно, с радостью согласилась. Дома у него работа кипела вовсю, были Таня и Варсеник, что-то чертили, я из этических соображений не смотрела ни направо, ни налево, я ведь была из другого лагеря, а занялась тем, что мне было дано. Жена Александра Александровича Евгения Конрадовна, чтобы меня поддразнить, стала выпытывать, что за проект у Кричинского, но я держалась стойко и профессиональных тайн не выдавала. Откровенно говоря, я еще так мало понимала в архитектуре, что проект в целом был для меня закрытой книгой.

А дальше получилось, что Александр Александрович меня попросил что-то сделать и по проекту, дальше — больше, и я полностью включилась в работу, работая у двух конкурентов сразу, хотя совесть меня и мучила, но искушение было слишком велико. До Кричинского дошло известие о моем поведении, и он Александру Александровичу попенял за это, но весьма добродушно, правда, сказал, что не такое уж я золото и работаю неважно, на что Александр Александрович сказал: «**А у меня — хорошо**», что было правдой, у него мы работали все хорошо, но это была уж его заслуга. Скоро Кричинский закончил свой проект, работал он быстро и сомнениями себя не мучил, так что я освободилась от двусмысленного положения, а у Александра Александровича не все ладилось, и он много переделывал.

В это время он получил каким-то путем известие из Петрограда о смерти своего любимого брата-близнеца, поэта Владимира Александровича Юнгера, которого очень любил; это его совсем выбило из колеи, тем более, что вскоре по приезде в Екатеринодар он потерял шестилетнюю дочку Галю, умершую от дизентерии. Они с женой очень по ней тосковали, она в особенности, временами была почти на грани душевного расстройства, впоследствии она этим и кончила. К нам она тогда относилась хорошо, мы ее развлекали. Это была красивая женщина, живая, талантливая, хорошо рисовала карикатуры, но нервная, всегда возбужденная, очень болезненно на все реагирующая, мы ее жалели и старались не бередить. В конце работы над проектом она заспорила о чем-то с Таней, обе были очень экзальтированные, кончилось разрывом, и бедная Таня была изгнана из дома, что очень переживала. Но это было потом, а пока было очень интересно. К Юнгерам приходили вечерами разные интересные люди, в том числе Самуил Яковлевич Маршак, поэтесса Васильева, по псевдониму Керубино де Габриак²⁰⁶ и др., разговоры были

занимательные, мы, работая, слушали во все уши. Часто Александр Александрович читал стихи брата из его книжки *«Песни полей и комнат»*, стихи Саши Черного, которого он хорошо знал по *«Сатирикону»*.

Работа была окончена и сдана, но о претворении ее в жизнь не могло быть и речи. Белая армия готовилась покинуть город, что и произошло весной 1920 г. Опять слышна была канонада, был объявлен комендантский час, что приветствовала мама, не надо было ей волноваться из-за наших поздних возвращений, наконец одни войска сменили другие.

Незадолго до ухода белых мы проводили Глеба, эвакуация происходила незаметно, постепенно исчезали военные и город становился все более штатским, да и богатые люди исчезали. У нас таких знакомых не было, кроме Кошко, которые уехали из Новороссийска заблаговременно: Владимир Степанович, как всегда, был хорошо информирован. Помнится, как мы печально сидели где-то на путях, Глеб, Женя, Юра и я, в ожидании посадки, бедный Глеб был очень удручен, да еще слаб после перенесенного сыпного тифа. Чувствовалось, что разлука надолго, может быть, навсегда. Потом выяснилось, что он благополучно после долгих мытарств добрался до Бразилии, там кончил политехникум, получил работу инженера, женился на местной жительнице. В 1923 г. выписал к себе Женю, которая там тоже вышла замуж, но за русского, и родила дочку. Некоторое время она писала, потом переписка прекратилась, что с ними сейчас — неизвестно.

В институте возобновились занятия после перерыва, вызванного переменой власти, но уже в другом здании — в гостинице *«Метрополь»*. Помещение было запущенное и малопригодное для педагогического процесса, наша чертежная была маленькой, где-то на задворках, но мы постарались сделать ее уютной, стены украсили нашими силуэтами, развесили работы, наши преподаватели опять много времени проводили с нами. Мы начали проектировать, что было еще более увлекательно, работали, как тогда было принято, в стилях, кто в итальянском барокко, кто под Кваренги, который пользовался у нас особым почетом, особенно в оформлении чертежей, мы очень ловко затемняли углы карнизов жженой сиеной и индиго и имитировали мрамор на колоннах и пилястрах, *«Историческая выставка архитектуры»* стала настольной книгой.

Отпраздновали первое 1 мая, которое в том благодатном климате было действительно весенним праздником. Александр Александрович был назначен главным художником-оформителем, для подготовки декораций был предоставлен летний городской театр. Мы, конечно, были привлечены к работам и писали декорации по его эскизам и лозунги на знаменах. В демонстрации участвовать не пришлось, так как работали всю ночь и возвращались домой уже под утро, едва держась на ногах от усталости. А ночь была волшебная, теплая, все было залито луной и засыпано лепестками фруктовых деревьев.

Летом мы пристроились для работы в местном краеведческом музее. Музей был маленький, но удивительно приятный, уже одно то, что там было прохладно и очень тихо, давало особое настроение, во дворе стояли каменные бабы, а на полках были расставлены разные вещи, найденные в курганах в окрестностях города, — черепки ваз, много радужных стеклянных сосудов, глиняные светильники: мы ведь находились на территории древней Колхиды. Мы занялись под руководством Александра Александровича писанием акварелью древних амфор и чувствовали себя в другом мире.

Этим летом нам с папой пришлось приобрести новый жизненный опыт — мы с ним были арестованы. В одну ночь были арестованы все бывшие дворяне, мы попали в эту категорию, бывшие военные, и «не вовремя приехавшие», т. е. прибывшие в Екатеринбург во время белых. Перед этим были всеми заполнены соответствующие анкеты, которым мы не придали значения. Ночью нас поднял с постелей громкий стук в дверь, вошло несколько вооруженных людей, нам велели сесть вокруг стола и руки положить на стол, затем стали разбирать наши вещи, оставляя нам всего по норме, маленькую кучку, а остальное все сложили в чемоданы. Нам объявили, что мы с папой арестованы, что маму с Таней утром перевезут на сады, а квартира будет заселена рабочей семьей. Нас увели, комнаты опечатали, маму и Таню оставили в коридорчике. Правда, про них забыли и куда не вывезли. Нас с папой чуть ли не весь день переводили из одного места в другое, по дороге мы встречали такие же группы. Виктор случайно увидел нас на улице, пошел за нами и проследил, куда нас в конце концов привели, — в большое здание бывшего табачного склада. Опять нас здесь держали долго во дворе, я была с папой и поэтому не очень боялась, а он меня утешал мудрой народной поговоркой: от сумы да от тюрьмы не отнекивайся. Прибежали мама и мои институтские товарищи, мы с ними переговорили через щель в заборе, потом они нам передали подушки и одеяла, и нас стали распределять по этажам. Тут нас с папой разлучили, и меня впахнули в какое-то помещение, почти темное, настал уже вечер, с массой женщин на нарах и на полу, прибывших раньше нас, некуда было не только лечь, но даже сесть, душно было ужасно, тут я почувствовала себя совсем плохо. Но пришел охранник и предложил всем желающим перейти в подвал. Я сразу согласилась и хорошо сделала: подвал представлял собой целый большой зал с эстрадой, было прохладно и совсем мало людей. Я улеглась на эстраде и от утомления сразу заснула.

Так мы провели 10 дней, было довольно свободно, я ходила к папе наверх, в мужское отделение, он ко мне, нашлось много знакомых. Я подружилась с семьей полковника в отставке Модзалевского, который был арестован вместе с женой и дочерью Тоней, вторую дочку оставили на свободе. Коротали время в разговорах и в прогулках по подвалу, выбирались на солнышко во двор, пока кто-нибудь из наших стражей, очень приветливых молодых солдат, не говорил умоляюще: «**Барышни, чи дамочки, увзойдите в помещение**». Нам приносили передачу, мои товарищи трогательно уделяли, что могли, из своих пайков, тогда введены были уже карточки. Сообщали, что о нас хлопчут. Наркомпросом ведала тогда очень занятная особа, т. Петренко, ходила она в казачьей форме и с кинжалом за поясом. Она будто бы сказала: «**Розинг мне нужен!**» — и это решило нашу судьбу, нас вызвали в комиссию и сказали, что мы свободны. Квартиру нашу распечатали, было гулко от отсутствия мягких вещей, чемоданы нам тоже скоро выдали. В наше отсутствие произошел еще один небольшой инцидент. Дело в том, что в пустой квартире в попытках запечатали и нашего фоксика Долли, а Таня со своим приятелем наутро ее вытащили через форточку, но о собаке вспомнили те, кто нас «ущемлял», как тогда говорили, и сами пришли, чтобы ее выпустить. А ее и не оказалось, началось расследование, кто снимал печати, кто входил, едва объяснились. Из табачного склада вскоре, видимо, всех выпустили, на сады тоже никого не вывезли, но зато очень стали прижимать местную буржуазию, в том числе семьи моих приятельниц. Варсеник в конце концов остался всей семьей на застекленном балконе, а Таня с родителями вообще должна была покинуть насиженное гнездо и ютиться в наемных комнатах.

Нас, студенческую молодежь, стали донимать воскресниками и субботниками, почему-то мы все время работали на дорогах, мостили их на солнцепеке, но в компании под веселые песни это было ничего.

Довольно занятой авантюрой была посылка студентов на борьбу с саранчой, это было летом 1921 г. Мобилизация была тотальная, [мобилизовали] всех учащих и профсоюзы, узнали мы о ней только накануне. Не к чести наших мальчиков надо сказать, что они быстро пристроились на геодезическую практику, которая от мобилизации освобождала. Мне папа сказал, что если я не хочу ехать, он поговорит, с кем нужно, и меня оставят, но я сказала, что не хочу протекции и поеду с моими подругами. Папа был доволен и сказал, что всякий жизненный опыт полезен и расширяет горизонт.

На следующее утро мы собрались в институте, снабженные кое-какими припасами. К своей радости, мы увидели нашего милого Туза, который сказал, что девочек в беде не покинет, нашего комсомольского вожака Васю Шипкова и, к нашему удивлению, — А. П. Орлова, его тоже с удовольствием приветствовали, стало легче на душе.

Наконец, после долгого ожидания, как водится, большой колонной двинулись на пристань на пароход, который повез нас по Кубани верст за сто. Затем нас высадили в каком-то местечке, где была ночевка прямо на берегу, спали под открытым небом прямо на довольно грязной траве. А затем был пеший поход километров 25 по палящей жаре, и тут мы очень измучились. Я как-то оглянулась назад и увидела в конце колонны фигуру Нины Апостоловой, в голубеньком платьице, кулачками утирающую слезы, совсем, как потерявшаяся девочка. Потом был привал с мытьем ног, и полегчало, а к вечеру прибыли на место в затерянную в степи станицу, Джирелиевскую, кажется. Нас разместили по хатам, мы, конечно, четверо все вместе, Нина, Таня, Варсеник и я. Хозяева нам набросали на галерейку сена, и мы завалились спать. Наутро вывели нас в поле и показали саранчу; узнали мы, что она за свою жизнь проходит семь стадий, мы застали предпоследнюю, прыгающую рыжую, дальше она развивает крылья, и тут уж с ней бороться бесполезно, как у Пушкина: **«Саранча летела, летела и села, все съела и опять полетела»**. В нашу задачу входило: девушкам устраивать побольше шума, махать ветками и гнать саранчу в определенном направлении, а мужчинам надо было копать канавы, куда она должна была попасть, затем канавы засыпать. Шумели мы охотно, это было весело и не трудно. Так провели два дня, а потом она стала летать все большими стаями, серо-зеленая, производя крыльями зловещий металлический шум, нам стало нечего делать, как томиться и ждать, когда нас повезут обратно. Нагнали народа много, к неудовольствию казаков, которые должны были всю эту ораву кормить. Они говорили: **«Да вы для нас хуже сараны, она у нас каждый год появляется, и мы сами с ней боремся»**. Устроили походную кухню, куда мы ходили с котелками по очереди и брали на всю архитектурную компанию невкусный суп и кашу. Вечером наша хозяйка всегда звала нас: **«Дивчата, идите сидать»**, ставила по-восточному низенький круглый столик в тень и маленькие табуретки, на столик — большую миску нарезанных огурцов с постным маслом или с простоквашей и ломти хорошего белого хлеба. Раз студенты занялись мародерством и поймали за станицей гуся, свернули ему шею, а девушки его сварили и устроили веселый пир. Алексей Петрович жил вместе с мальчиками и оказался гораздо симпатичнее, чем был в институте. Любил уходить в степь и загорать там в одних трусах, почему по станице прошел слух, что в степи появился черт: **«Да такой страшный, весь испеченый»**, — рассказывала наша хозяйка. Мы были все

молоды, поэтому проводили время весело, пели песни и гуляли в степи по вечерам. Наконец, дождались отправки, обратный путь проделали ночью, было даже приятно идти босиком по прохладной мягкой пыли, опять валялись на пристани и наконец поплыли на пароходе в город, где уже поползли среди родителей панические слухи, что мы все утонули вместе с пароходом. Появились мы в ужасном виде, хотя здоровые и невредимые, но такие обгорелые, грязные и оборванные, что стыдно было идти по городу, у меня юбка превратилась в висячие ленты, хорошо, была еще нижняя.

Один раз я испытала развлечение в виде настоящего южного ливня. Я сидела в институте, и когда вышла, на меня обрушился поток воды, буквально хлестало, как из ведра, улицы сразу превратились в потоки, я шла по колено в воде. В Пашковскую ехать было невозможно, трамваи все стали. Я отправилась просить приюта на ночь к Нине Апостоловой. Дверь мне открыл ее отец и ахнул, увидя такую ундину. Он был человек рассеянный, точно не от мира сего, и в Нининых подругах плохо разбирался, но тут он меня запомнил: **«Ах, Лида, это которая так промокла!»** Пришлось одеть все Нинино, мое сохло еще два дня. Но дожди летом были очень редки, небо всегда было безоблачное, совсем светлое, почти белое.

Еще была эпопея с арестом Александра Александровича и Евгении Конрадовны. Я делала какую-то чертежную работу для Александра Александровича и пришла для этого вечером, их дома не было, сидела чуть ли не до 12 часов, их все нет, мне это показалось странным. Прихожу утром — оказывается, они не ночевали, сестра Евгения Конрадовны и ее муж, которые вместе с ними жили тогда, совсем были в панике и ни на какие розыски неспособны. Пришлось заняться этим мне. Я пошла к тюрьме, около которой встретила брата С. Я. Маршака, Илью, пришедшего туда за тем же самым, вдвоем стало легче, и мы выяснили, что все трое арестованы. Как потом выяснилось, Александр Александрович и Самуил Яковлевич зашли вместе к кому-то из знакомых, у которых в квартире оказалась засада, а Евгения Конрадовна, по странному совпадению, зашла к другим знакомым и тоже там попала в засаду. Они в тюрьме были в разных камерах и узнали друг о друге, когда им перепутали передачи. Реакция была разная, как они рассказывали: Александр Александрович впал в отчаяние, а Евгения Конрадовна очень обрадовалась. И вот в течение двух недель я носила им передачу, Евгения Конрадовна все покупала и стряпала. Семья Маршака делала то же самое. Я не встречала более очаровательных людей, чем С. Я. Маршак, его брат и две сестры, Юдя и Леля, и совершенная красавица жена, от которой нельзя было отвести глаза. Это были необычайно деликатные, мягкие, культурные люди, очень дружные между собой. Все они были так или иначе причастны к литературе. Илья, или Люся, как его звали в семье, — это был будущий М. Ильин, автор талантливых научно-популярных книг для детей, Леля тоже стала детской писательницей, о Самуиле Яковлевиче все знают. Я с ними подружилась за это время, и дружба продолжалась и в Петрограде, пока они не переехали в Москву. Люся учился в нашем институте на химическом факультете, отсюда начало его обширных технических познаний.

Конечно, всех выпустили, так как Александр Александрович и Самуил Яковлевич были известными и ценными в городе людьми, и это было очередное недоразумение.

А жизнь в Краснодаре, как стал теперь называться Екатеринодар, становилась все труднее, от бывшего изобилия не осталось и следа, были введены карточки. Начался голод в Поволжье, и на Кубань хлынуло много беженцев, что ухудшало положение с продовольствием. Папа, конечно, получал зарплату, но на базаре купить было почти что нечего, разве что обменять вещи на кукурузную муку. Пошли в ход

последние простыни, часть из них пошла уже на платья мне и Тане, мы страшно обносились, летом уж давно стали носить сандалии на деревянной подошве, как и большинство жителей, на улицах шел от них характерный стук.

Но все же стала налаживаться связь с центром, мы получили первые письма, которые шли месяцы, письма были все грустные, все о смертях. Узнали о новом замужестве тети Лизы, о том, что дом на Гончарной рухнул, и бабушка живет вместе с тетей Лизой. Даже получили посылку, которую кто-то привез, — ботинки, чулки, материю, все такое необходимое, я получила серые замшевые перчатки, которые по недосмотру сгрызла наша собака, я плакала горькими слезами, мы уже давно ходили без перчаток, зимой шили себе варежки. Точно в наказание за это преступление бедную Долли вскоре переехала телега у самого нашего дома, но kota мы благополучно привезли обратно.

Хотя поездов, регулярно ходивших, еще не было, люди как-то пробирались туда и обратно. Это сделал и Андрей Петрович Вайтенс, зачем это ему понадобилось — не помню, захотелось разузнать, как и что делается на белом свете. Свою семью, жену и мальчиков, Юрочку и Петеньку, он оставил в Краснодаре, а сам пропал на несколько месяцев, но умудрился привезти всякие полезные вещи для занятий, бумагу, карандаши, некоторые книги, а также массу новостей из архитектурного мира, кто жив, кто умер, кто что делает. Они с Николаем Евгеньевичем Лансеро²⁰⁷ были женаты на сестрах, две очень похожие пары, мужья — кроткие, мягкие, а жены — высокие, статные, энергичные.

Зима 1921—1922 года была самая тяжелая.

Институт был опять переведен на новое место, но в лучшее, в здание бывшего Духовного училища, где мы, архитекторы, получили хорошую, светлую мастерскую. Занятия продолжались, и мы делали проект за проектом. Наша компания кое-кем пополнилась, но некоторые стали и уезжать. В 1921 г. со своей семьей уехал Виктор, затем Туз и Оля, которая ждала ребенка, и ей лучше было бы у отца в Петрограде.

В это время началось хождение так называемых эшелонов, т. е. железнодорожных составов, на которых реэвакуировались разные учреждения, к ним можно было присоединиться. Это были товарные составы, которые шли страшно медленно, застряв в пути, который иногда продолжался больше месяца, до Москвы или Петрограда. Таким путем уехали Эккерт и Арские, но последние с трагедией.

В городе были случаи холеры, и поэтому для всех отъезжающих были обязательны противохолерные прививки. Арские их все сделали и ехали уже из Пашковской в город, чтобы на следующий день уехать. От комнат отказались. Что могли из вещей — продали, в общем, корабли были все сожжены. И вдруг в трамвае у Марии Андреевны случился приступ холеры, они ее сумели как-то дотащить до нас, вызвали скорую помощь, которая ее и увезла в больницу в почти безнадежном состоянии. Нас с Женей не было дома, и когда мы пришли, домой пущены не были, родители с нами разговаривали через окно: «**Чувствуем себя глупо, сидим и ждем холеру. Пьем соляную кислоту**». Я побежала на станцию и нашла там у вагона Женю с младшими, Надей и Юрой, в совершенно ужасном моральном состоянии: что делать? Бросить мать и ехать? Остаться ей невозможно, все ликвидировано, даже ночевать негде, устроиться в другой эшелон надежды мало, врачи в больнице сказали, что надо ехать. «**Если ваша мать выздоровеет, то у вас есть друзья, которые о ней позаботятся, если она умрет, что вероятнее всего, вас не только к ней не пустят, но и хоронить не дадут**». Они

уехали, а на другой день нам сказали, что Мария Андреевна скончалась, мы послали Арским телеграмму в Петроград. К счастью, наши родители не заболели, возможно, это была просто реакция на прививку, никто не мог сказать.

Этим летом было всеобщее увлечение огородами, папа тоже взял участок где-то за Черноморским вокзалом, ехать надо было туда на трамвае до кольца, а потом еще идти пешком порядочный кусок. Оказалось, все надо уметь в местных условиях, которые сильно отличались от наших. У нас все сохло, а что выросло, то поела гусеница, которой было целое нашествие. Я очень неохотно, должна признаться, ездила туда вечерами поливать, а папа трудился усердно, и наконец принес на спине целый мешок дынек, но очень маленьких.

Затем мы опять к зиме переехали на новую квартиру, теперь уже бывшую директорскую в здании коммерческого училища, где раньше помещался наш институт, а теперь Северокавказский техникум, в организации которого папа тоже принимал деятельное участие и теперь был председателем Совета. Квартира была прекрасная, очень большая, у нас у каждого оказалась в распоряжении отдельная комната, но почти пустая, нашей скудной мебелью ее заполнить было нельзя. Внизу в подвале была громадная кухня, были и все удобства, водопровод и центральное отопление, но, к сожалению, все бездействовало, в ванной вода не текла, а жил у нас там поросянок, которого мама выкармливала. Когда настали холода, в квартире температура опустилась до 3° тепла, мы спали, наваливая на себя все, что было из теплых вещей. Сидели главным образом в кухне, где было тепло от мангала и можно было затопить плиту, когда были дрова; там папа писал, мы занимались, а мама варила постный борщ и фасоль с луком, единственную нашу еду, хлеб по карточкам получали только мы с папой, маме и Тане не полагалось, этого было мало, если разделить наши граммы на четверых. Папа пустился в одну авантюру, которая сперва много обещала. Группа профессоров задумала организовать кооперативную пекарню, каждый член кооператива должен был внести мешок муки, и было подсчитано, что за счет припека эта мука должна была обеспечить всех пайщиков хлебом до окончания века. Нашли помещение, пекаря, распределили дежурства. Некоторое время папа, торжествуя, приносил сколько-то свежего хлеба, но это быстро кончилось, возможно, уже через неделю, расчеты на припек себя не оправдали, пропала и мука.

Зима выдалась суровая, морозы доходили до 20°, все сидели вечерами по домам, улицы были совсем пустынные, ходили слухи о каких-то злодеях, которые набрасывали на одиноких прохожих петли, утаскивали их в подворотни и грабили, так что все ходили посреди улицы, благо транспорта вообще никакого не было. Я бы совсем не могла вечерами долго работать в институте, если бы не один милый, смешной человек, звали его Вовочка Никонов, маменькин сынок, типичный путеец-белоподкладочник. Мы с ним познакомились очень романтично в тюрьме, и он с тех пор стал питать ко мне безнадежно нежные чувства. Его добровольной обязанностью было провожать меня до дому, а потом бежать к себе на другой конец города. Я не зря боялась ходить одна и эксплуатировала беднягу, раз это доставляло ему, по-видимому, удовольствие. Со мной уже был один неприятный случай, еще когда мы жили на Медведовской. Мы организовали художественный еженедельный кружок, рисовали и писали акварелью. Оля, хорошая музыкантша, играла на пианино, которое кто-то из местных «ущемленных» девочек поставил в чертежную, пили чай со скромным угощением, кто что мог, приносил из дому. И раз я довольно поздно возвращалась домой, а в руке у меня был узелок с разными тряпками для очередной

постановки. Тут навстречу мне подошли какие-то мужчины и загородили мне дорогу, а один вынул пистолет и направил его на меня. К счастью, подошел еще кто-то из случайных прохожих, и они ретировались. Их соблазнил мой узелок, как горько бы они разочаровались в его содержимом! Но испугалась я ужасно, не помню, как и добежала оставшийся квартал, после долго боялась ходить одна по вечерам.

В городе становилось неудобно, голодно, все петроградцы начали себя чувствовать на отлете, наши родные засыпали нас письмами, что хватит нам сидеть на Кубани, что в Петрограде жизнь наладилась, никто не голодает, все живут в нормальных условиях. Папа меньше всех стремился уехать, ему нравился юг, работа в институте и в техникуме ему доставляла удовлетворение. Он постарел за эти годы, и, видимо, его пугала необходимость снова устраиваться, возобновлять связи, еще мы получили известие, что квартиры и вещи у нас больше нет, бабушке трудно было ее навещать, раз она пришла и нашла там чужих людей, а вещи оказались вывезенными как бесхозные. Мы остались с жалкими нашими чемоданами. Наши родные, правда, писали, что всем нам помогут, и оденут, и обуют, а квартир пустых много, занимай любую. Денег на переезд тоже не было, так что о переселении всей семьей нечего было и думать, надо было ехать по очереди. Решили первую отправить меня, весной 1922 г.

[Возвращение в Петроград]

К этому времени мы опять переехали на новую квартиру, уж не знаю, почему. Теперь нам предоставили две огромные комнаты в особняке, принадлежавшем уехавшим богатым армянам, с большой верандой в сад, в центральной части города. За папой местные власти и Наркомпрос очень ухаживали, хотели его всеми силами удержать как полезного человека, пугало проснувшееся у всех стремление вернуться в Москву и Петроград, это очень оголяло фронт народного образования, который держался главным образом на приезжих, оказавшихся неблагодарными, как считал папа, — пока было хорошо, так сидели, а теперь бегут.

Мне очень хотелось ехать, но было немного страшно и жалко расставаться с друзьями, с преподавателями, но была надежда, что и они скоро тронутся в путь. Провожали меня трогательно. Александр Александрович собственноручно запаковал в большой рулон все мои работы, наставлял, к кому обратиться, кого повидать, я должна была подробно обо всем ему писать. Настал день отъезда. В институте образовалась группа уезжающих студентов, к которой я примкнула, выбрали старосту, энергичного студента-строителя, архитекторов, кроме меня, не было. Прибыв на вокзал, мы увидели громадную толпу желающих уехать, стало страшно, когда подали поезд и все ринулись к вагонам. Одна я не села бы никогда, но мои новые товарищи буквально впихнули меня в купе, куда мы набились, как сельди в бочку, но все вместе. Никаких плацкарт, конечно, не было. Поезд тронулся, мы едем. О спанье нечего было и думать, немного дремали, привалившись друг к другу, так до Ростова. Тут уже было больше порядка, можно было без больших трудностей купить плацкартное лежачее место, конечно, в жестком вагоне, без постелей. До Москвы ехали три дня, в Москве была пересадка, расстались с некоторыми товарищами, с которыми за дорогу успели подружиться. Москву мы не видели, а прямо двинулись на Петроградский вокзал, и утром я была уже в родном городе.

Никогда не забуду того чувства, с которым я шла по Невскому, затем через Николаевский мост на Васильевский остров. По Неве плыли льдины, был апрель месяц, дул свежий морской ветер, во мне все ликовало, казалось, я все это вижу во сне. Шла я пешком, трамваи ходили, все обвешанные гирляндами людей, кто-то из моих спутников нес мой чемодан, а я — драгоценный сверток, в котором было все мое будущее. Вот и 9-я линия, вход во двор и на четвертый этаж, звоню — открывает тетя! За ней бабушка, но совсем старушка, сгорбленная, маленькая, с палкой, едва передвигающая ноги, только лицо и голос те же. Незнакомая мне трехлетняя девочка Лика, в проекте была еще одна, Вета, которая родилась осенью. Квартира мне показалась роскошной, чистой, благоустроенной, четыре комнаты и никаких других жильцов, мне отвели кабинет Валентина Александровича с большой удобной тахтой для сна, а не деревянный топчан с сеником, как я привыкла за четыре года. скоро пришел и новый дядя, которого я знала, в сущности, с детства, милый, приветливый, заботливый, мне так было хорошо, что хотелось плакать — все свое, родное. Разговоры были бесконечные. Тетя подала обед, простой, но сытный, а хлеба можно было есть, сколько хочешь, как я сразу написала маме. Поразила меня больше всего тетя, настолько она изменилась к лучшему, пополнила, похорошела, стала бодрой, энергичной, веселой, куда делась вечно скужающая, неудовлетворенная молодая дама! Она сама все делала по хозяйству, научилась стряпать, а раньше она и простой яичницы не могла бы приготовить, ухаживала за бабушкой, которая сама почти ничего не могла сделать, хотя и старалась быть полезной в присмотре за Ликой, в починке белья. Лика была живая девочка, очень проказливая, ее надо было и накормить, и одеть, и умыть, и погулять с ней, и все тетя делала, все попевала, и ни капли не тяготилась, а была всем довольна. Валентин Александрович много помогал, ставил утром и вечером самовар, ходил за пайком, за хлебом, всего получали довольно много, ели больше вегетарианскую пищу — каши, картофель, соленую треску и селедку вместо мяса, но сахару и масла было вдоволь, и я быстро отъелась.

Валентин Александрович был прямо на седьмом небе, получив собственную семью, сбылись все его мечты, так что я попала в счастливую обстановку.

С тетей мы всегда были близки, а тут не могли наговориться, бывало, сидим за вечерним чаем и все находим новые темы, пока Валентин Александрович, спавший из-за меня в столовой и рано встававший, не скажет, шутя: «**Лизочка, Лидочка! Я начинаю снимать маленькие вещи**», и не начинал развязывать галстук, вынимать запонки, тут мы с тетей разбегались по своим местам, хотя тетя еще долго возилась с хозяйственными делами.

А потом начались визиты к другим родственникам, розыски знакомых, с которыми не виделись четыре года, рассказы, что с кем было за эти полные событий годы. Первый визит был к дяде Дане, где встретила меня наша любимая Анна Сергеевна, превратившаяся из жгучей брюнетки в золотистую блондинку. С ней мы расстались не так давно, она приехала к нам из Харькова и долго жила у нас. Жили они хорошо, дядя работал и все было в порядке, квартира была обставлена красивой старинной мебелью, была полоса редкого благополучия у нашего очаровательного, но легкомысленного дядюшки. Затем — к дяде Пете Березкину, жившему в той же большой квартире на Басковом [пер.]. Паниа была замужем за богатым дельцом Вайрашевым (начинался НЭП), очень элегантная, занималась усиленно живописью. Дядя постарел, Прасковья Петровна была полна энергии. Я получала от всех дары в виде платьев, туфель, шляп, мой обтрепанный вид приводил всех в ужас.

Конечно, сразу я пошла устраиваться во Второй политехнический институт, как стал называться наш бывший Женский политехнический, помещался он теперь на 10-й линии Васильевского острова, в старинном здании бывшего Патриотического института²⁰⁸, совсем близко от моего теперешнего дома.

Встретила знакомые лица: Руфима Михайловича Габе, Ястржембского, Гевирца и других преподавателей, директором был тот же Н. Л. Щукин. Показала привезенные работы, рисунки и проекты, все было одобрено и зачтено, также сданные экзамены, так что я сразу могла поступить в мастерскую; выбор между мастерскими Л. Н. Бенуа²⁰⁹, В. А. Покровского²¹⁰, И. А. Фомина²¹¹ и А. Е. Белогруда²¹², я выбрала первого, так как это был учитель Александра Александровича, хотя И. А. Фомин и А. Е. Белогруд, вероятно, могли бы мне дать гораздо больше. Но Л. Н. Бенуа был замечательный старик, с необыкновенно мудрым отношением к жизни и архитектуре, с колоссальным практическим опытом. Раньше его описывали очень важным, малодоступным, когда он был ректором Академии художеств и перед ним сторожа торжественно распахивали двери. Теперь он стал простым, приветливым стариком, пытавшимся найти подход к новой молодежи, не навязывавшим своих мнений, ограничиваясь в высшей степени полезными практическими советами, любившим рассказы о прошлом, очень немногословные, но выразительные. **«Раз иду я в Риме, а навстречу мне кардинал...»**, дальше шло описание кардинала. На проектах он всегда рисовал зонтики над входными дверями, рисовал он необыкновенно легко и мастерски. Сохранился у меня его карандашный рисунок, как он с женой едет в экипаже где-то в деревне, замечательно была изображена бричка и лошади, и все по памяти. Он мог с легкостью набросать любой орнамент, картуш, чуть тронуть кистью, очень деликатно. К своим ученикам относился очень внимательно, всех помнил, на занятия приходил аккуратно. Помню, раз мы задержались на обеде, это было уже в Академии, и вдруг видим, Леонтий Николаевич ходит в одиночестве по коридору перед запертыми мастерскими, мы к нему бросились с извинениями; **«Ну, что вы, я ведь знаю, вы люди занятые, все работаете, а мне делать нечего»**. Он был совсем не у дел, и педагогика была для него отдушиной, связью с реальной жизнью. Наш брак с мужем он очень одобрил, говорил, что мы хорошая пара. Раз пришел в мастерскую мужа и нашел там меня и лихо подбоченился: **«Сама барыня здесь!»** Хорош был старик и внешне, очень красивый и живописный, обычно в черной крылатке с шарфом изумительного фиолетового цвета, держался с удивительным достоинством. Часто собирал у себя дома своих учеников, жил он в большой квартире в доме на 3-й линии, на верхнем этаже. Из окна были видны крыши, и раз он обратил мое внимание на печные трубы. **«Ужасно люблю трубы, мне все кажется, что это люди, вот собралась компания и о чем-то беседуют, а тут двое стоят дружно рядом»**. Рассказывали, что он перед смертью все бредил какими-то трубами, никто не мог понять, почему, я тогда вспомнила этот разговор. Дома у себя он показывал свои работы, а также эскизы всех проектов, которые он задавал в мастерской, он все программы проделывал сам, проверяя условия задания. Одно время его выбрали деканом, и он честно выполнял эту весьма хлопотливую обязанность, Руфим Михайлович, конечно, облегчал его, как мог.

Еще одного человека хочется вспомнить, без которого архитектурный факультет трудно себе представить, — это Бориса Николаевича Николаева. Он всегда был в институте, казалось, другой жизни у него нет. Он преподавал теорию перспективы, акварель, декоративную композицию и был необыкновенно эрудированный и разносторонний человек. Чем он только не интересовался: и происхождением архитектур-

ных форм как следствием деформации, и памятниками русской старины, и шрифтами, и кровообращением, и не знаю, чем еще, обо всем он писал брошюры, может быть, и несколько дилетантские, но полные оригинальных мыслей, он откликался на все. Когда была упразднена буква «ять», то была написана брошюра «*В защиту буквы “ять”*». Он всегда был в каком-то возбуждении, всегда кипел, никогда ни к чему не относился равнодушно, возмущался, спорил, доказывал. Обычно среди студентов у него всегда была очередная любимица, около которой он сидел и развлекал ее разговорами на самые различные темы. Одно время такой любимицей была я, и чего только он мне не сообщил, массу интересного и полезного, иногда мысли его были довольно парадоксальны, но всегда оригинальны. Когда я должна была выбрать себе тему дипломного проекта, он посоветовал мне *Астрономическую обсерваторию*, принес много литературы, заграничные журналы, с изображениями куполов и телескопов, оказывается, и это он все знал досконально, пошел со мной в обсерваторию в здании Института физкультуры (Институт Лесгафта) на Международном проспекте²¹³, никогда я сама такой материал бы не собрала. Попутно выучил меня строить тени в перспективе. Это было своеобразное ухаживание, абсолютно невинное, дальше сидения рядом и разговоров никогда не шло, причем как только любимица выходила замуж, он терял к ней всякий интерес и находил себе другую. Еще писал стихи и приносил избраннице в конверте, запечатанном восточной печатью. Стихи были вроде следующего: «*Ах, что мне делать с Розинг Лидой! Не видит снов, не пьет вина, и во вражде с самой Кипридой в себя лишь только влюблена*». Дарил обязательно все свои очередные брошюры. Когда он их писал — было непонятно, казалось, он все свое время проводил в институте. Мы очень удивились, когда узнали, что у него есть дом и жена-врач.

В институте в это время было много учеников Академии художеств старших курсов. В Академии в 1922 г. занятия еще не наладились, и они делали свои дипломные проекты и защищали их на архитектурном факультете института. У них было чему поучиться, все это были люди талантливые и взрослые. Особенно гремело тогда имя восходящей архитектурной звезды — Ноя Троцкого²¹⁴ после защиты им дипломного проекта «*Крытого стадиона*», а затем получения им первой премии на конкурсе «*Дворца труда*», работы эти были исполнены в живописной и романтической манере с большим темпераментом. Очень много давали защиты, на которых мы обязательно присутствовали, а также очередные оценки работ всем коллективом преподавателей в присутствии студентов, которые шли за ними тесной толпой и жадно ловили каждое слово. Во все это я погрузилась с головой и писала подробные отчеты Александру Александровичу.

По улицам я ходила теперь, задрав голову, увидев воочию наконец все классические архитектурные элементы, капители, карнизы, изученные по графическим материалам, и мне открылся целый мир, я узнавала здания: вот Зимний дворец, вот Биржа, вот Адмиралтейство, такие знакомые и вместе с тем неожиданные, одни более грандиозные, чем в воображении, другие — менее впечатляющие. Приятны были и знакомства с новыми товарищами, ставшими потом близкими друзьями. А музеи! В то время было открыто много новых музеев²¹⁵, полностью сохранивших обстановку и декор, мебель, предметы быта, такие как особняки Строганова, с античным саркофагом во дворе, Шереметевский на Фонтанке — «*Фонтанный дом*», Бобринских на Галерной улице, Музей старого Петербурга, где можно было увидеть в подлинниках изумительные листы Кваренги, такие знакомые по репродукциям в

«Исторической выставке архитектуры», но тут во всей своей неподражаемой полихромии. Бывала и на заседаниях общества «Старый Петербург»²¹⁶, возглавляемого Б.М. Михайловским, слушала доклады, ходила на экскурсии и обследования. В общем, зажила полной жизнью, бегала целыми днями — и все пешком, так что бабушка не успевала мне наклеивать резиновые подошвы на башмаки.

Но вот с наступлением лета вся интересная жизнь кончилась. Тетя с семейством переехала в Старый Петергоф в бывшее имение Лейхтенбергских Сергиевку. Это имение, с чудесным парком и живописным дворцом в помпейском духе, построенным Штакеншнейдером²¹⁷, было после революции передано биологическому факультету Университета для научной работы в летнее время и прохождения студентами практики. На лето туда переезжали профессора и их ассистенты, а Валентин Александрович одно время был директором. Кроме дворца, были еще здания служб, где жили профессора и преподаватели, и общежитие. Валентин Александрович имел летнюю квартиру в так называемом фрейлинском доме, угловую, во втором этаже, три большие комнаты с выбеленными стенами и со старинной мебелью. В проходной столовой стоял громадный круглый стол и мягкая амбирная мебель, обитая красным ситцем, как в Котлованове, только не с китайцами, а с летящими лебедями, и многие другие красивые вещи. В самом дворце были размещены лаборатории, дворец был очень затейливый, с внутренним двориком-перистилем, с бассейном, с перголами и гермами, главный зал выходил окнами-дверями на две стороны, на луг со статуями со стороны парка и на широкий спуск, или большую просеку, к морю. Архитектура дворца очень хорошо сливалась с природой, которая как бы входила в него; в парке были заросшие пруды, ручей в овраге с водопадами, каменные лестницы, мостик, беседки — в общем, очаровательный уголок, который все очень любили, в будущем мама там будет жить с Инной каждое лето с ранней весны до поздней осени. Но мне в то первое лето было не до красот природы, и я смотрела на Сергиевку как на место ссылки, неблагодарная. Чтобы помочь тете, гуляла с Ликой, сидела с ней на море, одним глазом за ней смотрела, а другим читала очередной учебник, подготавливаясь к экзаменам. Занятия в институте были свободные, настоящих каникул не было, экзаменационных сессий тоже, поймешь нужного преподавателя в коридоре, попросишь его, и он идет любезно с тобой в свободную аудиторию и ставит зачет, если ты его заслуживаешь, или велит прийти еще раз.

Раз в две недели меня отпускали в город, к чему я готовилась загодя. Бабушка ставила будильник на шесть часов, будила меня (мы спали в одной комнате), поила молоком, и я мчалась на станцию. Поезда ходили медленно и редко и состояли из одних товарных вагонов, так называемых «телячьих», в которых были поперек положены доски для сидения, а двери оставались открытыми для света и воздуха. От вокзала я шла пешком на Васильевский остров, и начинался насыщенный день: то сдашь какой-нибудь экзамен, то покажешь эскиз Леонтию Николаевичу, получишь паек за все время, хлеб, селедки, это было официальной причиной моих поездок — терять хлеб в то время было еще невозможно, мы еще не привыкли быть сытыми, затем встречи с товарищами, на минуту зайдешь в квартиру — и обратно на поезд. Чтобы остаться одной в городе переночевать, об этом не могло быть и речи, тетя свое опекунство надо мной принимала всерьез. Но в Петергофе было, конечно, хорошо, лето было прекрасное и после краснодарской жары казалось особенно приятным. Были интересные люди, дружная группа профессоров — Соколов²¹⁸, Дерюгин²¹⁹, Филипченко²²⁰, Филипьевы — все молодые пары с маленькими

детьми, часто собиравшиеся друг у друга. Чтобы обеспечить меня карманными деньгами, меня устроили разбирать бывшую герцогскую библиотеку, которая была в беспорядке свалена на просторном чердаке одной из служб. О библиотечном деле я понятия не имела, я только их переписывала и ставила на полки, часами читала, там было очень много интересной мемуарной литературы на французском языке. Занималась немецким языком с двенадцатилетним Котей Дерюгиным, теперь известным океанологом, кто из нас больше томился за этими занятиями — неизвестно.

Вечерами моей обязанностью было ходить за молоком в поселок немецких колонистов, так называемых Кноделей, которые заселяли целую улицу уютных домиков, внизу у моря. Идти туда надо было через парк и выходить на шоссе через маленькую романтическую калиточку, все было очень поэтично.

В конце августа тетя уехала в город, мы получили известие о рождении Веты и с бабушкой последовали за ней. Так как бабушка не могла войти в вагон, нас отвезли в Петроград на лошади, ехали мы по старой Петергофской дороге почти целый день, проехали через Новый Петергоф, Михайловку, Знаменку, Стрельну, бывшие великокняжеские имения, которые еще были целыми, по дороге стояли старинные верстовые столбы, увеличивавшиеся по мере приближения к городу.

Теперь уже я стала заниматься в институте регулярно, в свободное время развлекалась; столько было всего интересного — и театры, и литературные вечера, и собрания общества «*Старый Петербург*», я так по всему изголодалась в Краснодаре. Этой осенью моим постоянным компаньоном стал Туз Смукрович, который был покинут Олей. Она забрала дочку и переехала к своему другу детства Ивану Александровичу Лаппо-Данилевскому²²¹, гениальному математику, рано ушедшему из жизни, но так много обещавшему, да и сделавшему. Сперва мы ее порицали и сочувствовали Тузу, который очень тяжело переживал разрыв, но он скоро уехал в Москву и сам женился, а мы стали бывать у Лаппо-Данилевских часто. Иван Александрович был сыном известного историка и жил с матерью, у него был еще брат — талантливый художник, погибший от сыпного тифа. Иван Александрович окончил Пажеский корпус и сохранил внешние манеры так называемой предреволюционной золотой молодежи, имел немного дегенеративную, странную внешность, какой-то деревянный смех, резкий голос. Он был исключительно музыкален, хотя признавал только трех композиторов: Баха, Бетховена и Вагнера, любовь к музыке его и сблизила с Олей, которая начала было учиться в Консерватории. Но главной страстью его была математика. Он после революции поступил в Университет и был учеником академика Смирнова²²², был он так одарен, что, кажется, прямо начал с докторской диссертации, а чтобы содержать семью, мать, Олю и Олину дочку, взял место управхоза в доме, где они жили, на 6-й линии. На наших сборищах он охотно объяснял, над чем он работает, но мне понять это было невозможно. Таня и Варсеник, которые были очень способны к математике, особенно Варсеник, что-то понимали. Защитил он докторскую диссертацию с блеском и получил какую-то заграничную премию и предложение напечатать диссертацию в Гейдельбергском университете. В 1927 или 1928 г. они с Олей и девочкой, которую он удочерил, уехали в Германию. Скоро получили печальное известие, что он умер, сердце или легкие были причиной его смерти, не знаю, здоровье его было давно подорвано. Оля осталась в Германии и поступила на математический факультет, чтобы иметь достаточную эрудицию для издания работ Ивана Александровича. Женщина она была очень способная и очень энергичная, хотя внешне производила совсем обратное впечатление, вялое, необыкновенно тягуче говорила. Мама не раз жаловалась: «**Без тебя**

заходила Оля и меня совсем замучила, тянула, тянула». Иван Александрович блеснул, как метеор, и сгорел, ему, вероятно, было не больше тридцати лет. Не очень давно я прочла в одной современной статье отзыв о нем как о талантливейшем математике.

Шла осень, наступала зима, а родители все не ехали, но прислали Таню, которая поселилась у дяди Дани, поступила в Университет на филологический факультет и в Институт истории искусств, которые окончила совершенно незаметно, как она умела делать, обзавелась интересной литературоведческой компанией, подружилась с Б. Бухштабом²²³, Лидией Гинзбург²²⁴, Е. Сегал, потом женой и сотрудницей И. Маршака, и др.

Чтобы поторопить родителей, мы с тетей сняли две хорошие комнаты на 8-й линии, купили дрова, деревянную кровать, ночной столик и мешок картошки. По уговору с хозяевами я должна была через день ходить топить печку, грелась, сидя на полу, стула не было, пекла картошку и готовилась к экзаменам, просила у тети чайник, но бабушка наложила свое veto, боясь, что я буду на свободе принимать гостей, на 9-ю линию я могла приглашать, кого хотела. Держали меня строго до приезда родителей.

Наконец перед Рождеством приехали папа и мама. Сразу после их приезда, пока мы еще не успели переехать в свои комнаты, умер Александр Станиславович Догель, отец Валентина Александровича, и все планы изменились. Тетя с семейством переехала на квартиру старых Догелей на Большой проспект [В. О.], где Екатерина Алексеевна осталась одна, свою же квартиру она оставила нам со всей обстановкой, так просто был решен вопрос с нашим устройством. Понемногу мы стали обзаводиться собственными вещами, а тетины управляли дяде Коле, который тоже перебрался со своей семьей из Владивостока и получил пустую квартиру, мама вошла во вкус старинных вещей, завела знакомства с комиссионерами и скоро заменила все тетины вещи очень приятной мебелью. Папа больше увлекался предметами убранства, купил старинные часы с курантами, бронзовую статуэтку пажка, старинную английскую раскрашенную гравюру, изображавшую постоялый двор и отъезд дилижанса, мотив его любимого Диккенса. У нас стало уютно, и мы не жалели о квартире на Ямской, да и Васильевский остров, который мы раньше почти не знали, очень нам понравился.

Но к весне папа опять уехал в полюбившийся ему Краснодар, чтобы окончательно ликвидировать свои дела и выполнить взятые на себя обязательства. Он оформился в Политехническом институте профессором и прочел курс лекций электрических измерений, а затем уехал.

Мама его торопила с возвращением и, видимо, была недовольна задержкой окончательного устройства. На это он писал:

Отвечаю на твое последнее письмо, где ты торопишь меня приехать. В данный момент я еще не могу освободиться. У меня еще идут лекции и экзамены. Ведь я читаю на первом курсе, где масса народа. <...> Но главное, что я имею здесь, это возможность спокойно, т.е. не отрываясь, писать. Я веду совершенно уединенную жизнь, встаю очень рано, купаюсь по утрам и сажусь писать, за 3 1/2 месяца около 30 печатных листов. <...> К этому присоединяется здоровая жизнь и пища. В этом году весна и лето были с дождями, что дало урожай всего, ягод и овощей.

Папа писал несколько научно-популярных книжек, которые печатались в издательстве «Сеятель»²²⁵, связь с издательством осуществлялась через меня, мне же поручалось изготовление чертежей и получение денег. Писал он всегда очень легко и хорошо, понятным, ясным языком.

Но все же и ему пришлось распрощаться с благодатным югом. Кубанский политехнический институт окончательно закрывался, оставался только техникум. Осенью 1923 г. отец приехал в Петроград. Теперь он мог вновь вернуться к лабораторной работе, которой он был лишен в Краснодаре. С 1924 г. он стал работать в Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории и все больше сокращал педагогическую деятельность, всецело занявшись научно-исследовательской работой, которая и была основной работой его жизни. Пытался приохотить к ней нас с сестрой, сперва у него немного работала в лаборатории Таня, потом я во время временного бездействия после окончания архитектурного факультета, в то время устроиться на работу было не так легко. Я что-то соединяла, что-то отключала, но мало понимала, что я делаю, хотя недавно сдала физику на пять; папа видел мою неспособность и огорчался. Говорил: **«Если кто зайдет, то лучше молчи»**, боясь, что я выкажу свое невежество и его опозорю. В обеденный перерыв трогательно сам ходил в булочную за пирожными, и мы пили чай, который он готовил. Бедный папа никак не мог сделать из нас физиков, хотя говорил: **«У меня столько идей, что на вас всех хватило бы»**. Он надеялся на Тamarу, у которой был более математический склад ума, а ее-то он и потерял.

Папе пришлось жить своими интересами, не находя понимания в семье, но всегда подавая пример высокой профессиональной честности.

Как-то раз он пришел домой очень оживленный и сказал: **«Хотите ехать в Америку?»** Мы, конечно, в ответ закричали, что не хотим, нам и здесь хорошо. **«Я так и думал и отказался, хотя одна фирма сделала мне очень лестное предложение, полное материальное обеспечение и все, что мне нужно для работы. Но я свой мозг продавать американцам не собираюсь, я русский и буду работать для своей страны»**. Это было в 1924 г., когда выехать за границу можно было свободно.

Мы с сестрой вышли замуж, папа очень хорошо принял своих зятьев, и они платили ему уважением и привязанностью, что и доказали оба на деле в трудные для него годы. Родилась первая внучка, папа ее очень полюбил, часто к ней заходил и любовался ею, как и подобает дедушке, искал для нее игрушки.

Были некоторые волнения из-за Таниного первого неудачного замужества с Павлом Микеладзе, с которым она познакомилась в пансионе в Алушке, где проводила лето. Павел был, в сущности, всем хорош, красивый, воспитанный, экономист по образованию из совершенно чудесной семьи Вячеслава Артемьевича Микеладзе, бывшего князя и царского генерала, который вместе со всей дивизией перешел после Октябрьского переворота на сторону советской власти. Это был совершенно обаятельный человек, так же как и его жена Наталья Павловна, был еще младший сын Вячеслав, или, как его звали в семье, — Свет, тогда еще совсем мальчик. Таню приняли с распростертыми объятьями, ухаживали, баловали, мы стали бывать друг у друга, все было хорошо. Устроили пышную свадьбу, Таня была очень хороша под венцом в белом платье и с фатой, со своим южным типом под стать своей новой грузинской семье. В день свадьбы родители Павла прислали фамильный серебряный поднос для бокалов с шампанским с запиской: **«Княгине Микеладзе младшей»**. Молодые уехали в Москву, где Павел работал, оставив нам полную квартиру корзины цветов. И вдруг, месяца через три, прихожу я с работы и вижу маму с совершенно расстроенным лицом: **«Таня приехала»**.— **«Надолго?»** — **«Насовсем»**. В мое отсутствие у мамы с Таней произошло бурное объяснение, и Таня дома не осталась, а ушла к своим друзьям Свищевским и прожила там до осени, когда уехала в Батум со своим

вторым мужем и вернулась уже в семью Фоминых. Микеладзе были ужасно огорчены, но своего отношения к Тане не переменяли, остались ее друзьями, так же как и нашими. Мама же долго не могла простить Тане ее легкомыслия, в чем было дело — так и осталось неясным. Но папа держал сторону Тани, и с ним одним она общалась, пока мама не отошла после такого «позора». Павел не женился до Таниной смерти, когда он случайно оказался в Ленинграде и был на ее похоронах.

Мы привыкли к папиной молчаливости и сами с ним не заговаривали, но посторонним это было непонятно. Одно лето мама жила на даче с внучкой, и нам вела хозяйство одна бывшая генеральша, дама очень светская и болтливая, считавшая своей обязанностью во время обеда занимать папу разговорами. Я сидела, как на иголках, боясь, что он взорвется, но он был человек воспитанный и, хоть немногословно, все же поддерживал разговор. А рассеянность его была знаменитая, совсем профессорская. Раз с какого-то съезда он приехал в чужом пальто и выяснил это только потому, что в кармане обнаружил бублик, а у него бублика не было, это он знал твердо. Моя свекровь, со свойственным ей юмором, рассказывала:

Встретила сегодня на улице твоего отца, он узнал меня, представь себе! Я воспользовалась случаем, чтобы выпросить его, что у вас делается. «Ну, как, Виктор приехал из командировки?» — «Как, Виктор уезжал?» — «А как Лида чувствует себя на новой службе?» — «Как, Лида на новой службе?» — «А как вы довольны новой домработницей?» — «Как, у нас новая домработница?» Тут уж я прекратила все расспросы, чтобы его не смущать, и распростилась.

Это вовсе не значит, что он нами не интересовался, просто он был всегда погружен в свои мысли. С годами он все больше беспокоился о нас, как бы с нами чего не случилось, никогда не ложился, пока все не были дома, а если мы задерживались, то порывался звонить знакомым, маме приходилось его удерживать. В этом он стал повторять своего отца. Хотя мы и стали взрослыми, он оставался тем же балующим нас папой. Часто брал билеты в театр или концерт на всех нас и очень огорчался, когда кто-нибудь оказывался занят, а это случалось, мы были молоды, и у нас была своя жизнь.

Летом 1929 г. отец прокатил меня с Таней по Волге со всем мыслимым комфортом, кормил икрой и селянками из стерлядей, хотел устроить все возможно лучше, часто неумело, а мы капризничали и скучали! Волга еще была полноводная, без шлюзов, пароходы были колесные, шли медленно, плицами по воде. От Рыбинска плыли на малом пароходе, а потом пересели на большой, у каждого была маленькая отдельная каюта. Был июнь, и с берегов тянуло ароматом ландышей, а на пристанях продавали изумительных бронзовых чудовищ — свежекопченных стерлядей, их еще много ловилось. Икру подавали каждому целое блюдечко, икринка к икринке, обложенную льдом, и ели ее ложечкой.

[Последние годы жизни Б. Л. Розинга]

Черный день настал для нашей семьи 8-го февраля 1931 г. Папа получил повестку с предписанием явиться в ГПУ на следующий день к такому-то часу. Ничего хорошего это не сулило, и с тяжелым чувством мы его утром проводили, а затем в ужасном напряжении прождали целый день. Помню маму, которая до вечера простояла у окна, смотря на двор, через который он должен был пройти. А вечером пришли с обыском, и все стало ясно. Теперь мама стала носить передачи и ждать свидания. В мае кто-то переслал записку, что папу выслают и чтобы принесли на вокзал деньги и вещи. Мама растерялась, и если бы случайно дома не оказался Игорь, папа бы уехал без всего. Игорь, со свойственной ему расторопностью, нашел состав и вагон, где был папа, передал туда все буквально в последнюю минуту, как поезд тронулся, и мы стали ждать вестей.

После папиного ареста в папин кабинет вселили большую семью, простую, но вполне приличную, а все-таки стало неудобно, мы уже чувствовали себя не у себя. В это время свекор моей сестры Иван Александрович Фомин решил перебраться в Москву, и ему удалось обменять наши оставшиеся три комнаты на квартиру в Москве, а мы въехали в его квартиру на Съездовской линии и объединились с Таней.

Когда нам вселили чужих людей, встал вопрос, что делать с собакой, папиным любимцем Рикой. Это был большой пес, помесь водолаза с сеттером, совершенно не выносивший посторонних, встречал хорошо он только тех, которых знал щенком, а на других набрасывался, даже нас слегка кусал за руки, когда мы его отгаскивали. При каждом звонке его приходилось запирать у папы в комнате. Щенком его подарили Тане, но ей он скоро надоел, и папа взял его на свое попечение, всячески его баловал и потворствовал ему. Гуляя с ним, он выполнял все его желания, они ходили всегда по середине улицы, зигзагами, так что мы смеялись, что не папа гуляет с Риком, а Рик гуляет с папой. Летом папа водил его на Неву, купал его. Он считал его необыкновенно умным. «Рик мечтает», — говорил папа, когда собака вечером клала голову на подоконник и наблюдала за всем во дворе. Пришлось нам с мужем отвезти его на дачу к одним знакомым и там его оставить. Мы его привязали, и когда уходили, он вытянул веревку до отказа и смотрел нам вслед, а потом завыл. Мы сами почти плакали. Бедный Рик прожил недолго, его, видимо, отравили соседи, папе об этом не сказали.

Причины его ареста выяснились при личном свидании с ним, уже в ссылке, до тех пор оставалось только гадать. Как он сам рассказывал, идя по вызову, он ломал себе голову, в чем же причина, может быть, переписка (исключительно научная) с заграничными учеными, публикация научных статей в заграничных журналах, но совершенно официальная. Он делал ряд работ для Военного министерства, совершенно секретных, может быть, это? А связь с Константиновским училищем ему и в голову не приходила, он и думать о нем забыл. Оно было расформировано после Октябрьской революции, и связи у него ни с кем из бывших офицеров не было, да и до революции никаких близких отношений с офицерской средой у него, как штатского преподавателя, не существовало. На следствии же выяснилось то, что он совсем забыл. Как-то в лаборатории к нему подошел один из сослуживцев и сказал ему, что кто-то из бывших служащих Константиновского училища находится в очень бедственном положении, и попросил отца пожертвовать сколько-нибудь денег. Папа,

который в помощи никогда никому не отказывал, деньги дал и расписался в подписанном листе. Так он был обвинен в участии в нелегальной кассе помощи бывшим служащим училища.

Первый допрос прошел бурно. Долгое ожидание, неизвестность — все взвинтило ему нервы, да еще следователь обратился к нему очень грубо, на «ты», тут папа так вышел из себя, что сам начал кричать на следователя, стучал кулаком по столу, одним словом, себя не помнил. Больше он этого первого следователя не видел, в дальнейшем допрашивал его другой, очень корректный, на первом допросе только заметил, что папа должен отдавать себе отчет, где он находится. Допросы проходили в форме бесед по разным вопросам, о коллективизации и другим, и папа откровенно высказывал свое мнение. «В ДПЗ условия, можно сказать, были идеальные, в гигиеническом отношении. Кормили нас сытной и здоровой пищей, ежедневная гимнастика, постоянное открывание окон, непрерывное общение 150 человек разных профессий между собой, по вечерам лекции, беседы, шахматы», — писал он в одном из писем (10.10.32).

Зато дорога оказалась очень мучительной, было душно, тесно, выходить не разрешали, когда их выпустили на свежий воздух в Котласе, папе стало дурно. По дороге он сдружился с некоторыми товарищами по несчастью, все были моложе его и о нем заботились.

По приезду в Котлас они могли устраиваться самостоятельно, кто как может, папа ведь получил три года вольного поселения на Севере. Папа со своими новыми товарищами устроился на лесопильный завод в Лименде²²⁶, он никогда не избегал физической работы, поселились все вместе в рабочем бараке.

При первой возможности мама поехала к нему, кое-что ему привезла, но долго остаться не могла, там жить было негде. И началась папина трудная, одинокая жизнь. Казалось бы, ничего особенно тяжелого в ней не было, жил он на полной свободе, ограниченной только пребыванием в назначенном городе, должен был только в определенные сроки отлучаться. Конечно, были плохие бытовые условия, но не это было главным, а невозможность продолжать научную работу, отсутствие лаборатории, нужных книг, всего того, что для него составляло смысл жизни. Оставалось одно — писать, подводить итоги сделанному, составлять планы будущей работы. И за это папа принялся немедленно, а также старался найти возможность приложить свои силы к тому, в чем он мог быть полезен. Это он начал делать со свойственной ему целеустремленностью и энергией. Начались бесконечные поручения маме и нам, прислать ему то, то другое, начатые статьи, корректуры, у бедной мамы голова пошла кругом, пойти туда, поговорить с тем-то, узнать то-то. Его письма, которые он писал по очереди всем нам, т. е. маме, сестре и мне, рисуют яркую картину его активности; он не падал духом, а старался, как мог, выйти из создавшегося нелепого положения.

Проводив тебя, я вернулся пешком в барак и на другой день был на работе, где и работал до 7 часов. Работа, как я тебе говорил, неумолимая, и, как происходящая на свежем воздухе, для меня полезная. Тем не менее я сегодня повидался с главным инженером завода и рассказал ему о моем неподходящем времяпрепровождении. Изложив ему мою прошлую деятельность, я, кстати, показал ему то, что ты мне привезла из дому, полученное за время моего отсутствия, т. е. 1) корректуру моей статьи в [журнале] «Вестник электротехники», 2) письмо из редакции, касающееся моей статьи об успехах в СССР из области передачи изображений и 3) выданный мне патент в апреле этого года» (25.06.31).

Пишу на пароходе по дороге в Котлас, куда еду, так как привезено сообщение, что в Горсовете имеются два места для расчетных работ по планировке города (28.06.31).

Оптимизм его не покидает:

С приездом мамы, привезшей моральное и материальное подкрепление, кривая моей жизни, выражаясь математическим языком, быстро начала подниматься кверху. Сейчас я переживаю хорошие дни. Лето стоит прекрасное, напоминающее средние широты. Небо безоблачное. Кругом зеленые луга, масса полевых цветов. Речные воды сини. В большом изобилии цветет и пахнет розами шиповник. Особенно хороша протекающая в ста шагах от барака многоводная Вычегда, по которой плывут белые пассажирские пароходы, буксиры, плоты, бревна. <...>. Сейчас для нашей артели (6 человек, с которыми хорошо сошлись перед этим во время путешествия и на работе) поставили электрическую пилу, и мы сдаем четкую и даже художественно налаженную работу. Каждый специализировался по-своему, я являюсь, главным образом, «кладчиком». Вы не беспокойтесь, я не утомляюсь и работаю в меру. Мы на хорошем счету, и нам повысили зарплату. <...>. Как устроятся ваши жилищные дела? Очень было бы хорошо, если бы вы, т.е. Фомины и Твелькмейеры, съехались вместе на Съездовской линии, с чадами и домочадцами. В один прекрасный день или в один прекрасный семейный вечер, может быть, и я явлюсь к вам. Таковы, по крайней мере, мои мечты. Однако до тех пор потребуется, как я чувствую, очень много терпения и труда. К счастью, как показало недавнее прошлое, у меня оказалось хорошее здоровье, и в настоящее время, как будто, ничего не осталось от пережитых невзгод. Сообщите маме, что кашель, который ее как будто пугал, у меня прошел. Я много хожу без утомления, работаю, слегка купаюсь и хорошо сплю.

Был у инспектора народного образования и описал условия, в которых должен жить. Он обещал привлечь меня к кружковой работе в котласских учебных заведениях. Независимо от сего я собираюсь зайти к заведующему фабзавуча при заводе в Лименде.

Но пока что все ограничивалось обещаниями. Улучшение было в том, что папе дали отдельную комнату в бараке и освободили от физического труда, так что он надеялся на возможность заняться научной работой, но пока что держался за лесопилку.

«Я сговорился здесь с заведующим Рабрросом²²⁷ и собираюсь прочесть лекцию после 1-го сентября в рабочем клубе о моих фотоэлектрических приборах».

Он усиленно сносится с Обществом помощи слепым по поводу своей электронной читающей машинки, дает по этому поводу многочисленные поручения, даже у него возникает мысль о том, чтобы мы ее ему прислали, и закончить опыты здесь... Но где? Помощь слепым — это идея, которая его особенно занимала не только с научной точки зрения, но и с гуманистической. Слепые вызывали в нем особое сочувствие. У него был слепой двоюродный брат, он сам едва не ослеп в молодости, производя опыты, кажется, с желтым светом, был приговорен врачом к полной слепоте; к счастью, врач ошибся. Ему хотелось дать слепым возможность читать обычные книги на слух, в конечном итоге изобретаемая им машинка должна была превращать начертание букв в звуки, соответствующие звучанию букв, т. е. читать вслух. Кое-чего он уже добился, разные буквы, пока большого размера, давали разные звуки. Общество слепых было, конечно, очень заинтересовано в продолжении работы. Мы слали посылки, деньги, что могли. **«Теперь я вполне обеспечен и в денежном и в материальном положении. Если не принимать во внимание моего морального состояния, можно было бы сказать, что я нахожусь в каком-то доме отдыха или санатории».**

Но это, конечно, он нас утешал, его квартирные условия были далеко не санаторные, все он должен был делать сам, и покупать, и стряпать, некоторый опыт он приобрел в Краснодаре, когда жил там один. Он подробно описывает, что купил и что из

купленного сделал, это все звучало очень трогательно, и так было его жалко, когда он тратил свое драгоценное время и нервы на всю эту бытовую ерунду. Близкого человека около него не было. Мама разрывалась на части между ним и нами, она была нам очень нужна при двух маленьких детях и необходимости нам с сестрой работать, теперь не он нас, а мы его с мамой должны были содержать, жить на два дома. То один из нас, то другая урывали время, чтобы его навестить, хотя бы ненадолго. Дело было не в том, что он был одинок, одиночество он всегда переносил легко, у него для этого было достаточно внутренних ресурсов, да и характер у него был не очень общительный, но одиночество хорошо, когда от человека самого зависит возможность его нарушить, а тут оно было вынужденным. Кроме того, он был ко всем нам очень привязан и привык чувствовать нас вокруг себя. Сейчас он очень привязался к своим товарищам. «Письмо придется закончить драмой (для меня). Неожиданно переводят в другое место (неизвестно куда?) моего друга Иогансона, с которым мы дружно прожили 3 месяца. Я не думал, чтобы можно было так привязаться друг к другу» (18.08.31).

Время он проводил таким образом:

Теперь я целый день до 4-х часов вечера свободен. Могу читать, писать, гулять в город и пр. К сожалению, чувствую отсутствие книг, журналов и вообще оторванность от умственного и вообще цивилизованного мира, кроме моих специальных интересов, которые я ношу в голове. В 12 часов я хожу обедать в столовую, где сейчас кормят очень хорошо. К 4 ч. я иду на лесопилку, где мы пользуемся полной свободой в смысле использования своего времени: работа сделанная, регистрации нет. В 7 ч. мы снова идем в столовую: дают мясной суп, но довольно голодный. Попроси маму мне прислать консервов борща, которые мне очень пригодились. К 12 ч. я возвращаюсь домой — в компании закусываю что-нибудь и ложусь спать. Комната моя очень хорошая и чистая. У меня временный сожитель, который на днях уезжает, так что если я захочу, то могу остаться один. На днях для пробы мы топили нашу печь, оказалась великолепная: берет очень мало дров и держит тепло очень хорошо (24.08.31).

Наконец просвет.

Послезавтра я начинаю читать лекции по физике для рабочих, а вчера ездил в Котлас читать первую лекцию по высшей математике, а именно по векториальному анализу. Так как этот предмет я хорошо изучил и люблю, то лекцией я остался доволен. Собралось человек 20 инженеров и техников строительного отдела завода и слушали внимательно этот новый для них предмет. Вместе с этой переменной работы кончилось мое дежурство по 7–8 часов на свежем воздухе. При наступлении холодов это становилось уже рискованным. Теперь я буду меньше занят и буду в тепле, что мне очень улыбается, тем более что определенно наступила осень с ветрами, дождями и грязью. Вчера, например, я должен был вернуться, не дойдя до Котласа из-за грязи. Галоши не помогают, так как тонут в грязи (19.09.31).

Наконец удалось найти комнату в Котласе.

Вопрос о квартире занял у меня почти две недели. Очень трудно было найти квартиру в Котласе, трудно было переехать и еще труднее закрепить здесь. Все три этапа теперь пройдены, и сейчас мы сидим с моим сожителем Всеволодом Михайловичем Лобанцовым (бывшем присяжным поверенным) в нашей комнате у керосиновой лампы. Я пишу, он читает. В нашей комнате три окна: два на одной стене и одно на другой, стол, два стула и две койки (из них одна — моя

собственность). В комнате очень тепло, потому что в комнату входит с одной стороны большая русская печь, которая постоянно теплая. Рядом с нашей комнатой кухня, где имеется большой самовар, который часто ставится, рукомойник. С другой стороны примыкает хозяйская комната, где тоже русская печь. Дом построен по-деревенски. Комнаты высоко над землей. <...> Вместе с тем я свои занятия переносу в Котлас. В Лименде у меня остаются не больше 4 лекций в шестидневку на рабочих курсах. Взамен того я намереваюсь получить лекции в рабочем клубе в Котласе и еще где-нибудь. Остальное будет состоять в научной работе, писании статей. Думаю начать небольшую книжку по технологии дерева, с которой во время лета хорошо познакомился. Книга будет называться «История одного бревна», начиная с его «рождения» до превращения его в художественную мебель. В Котласе остаются еще у меня лекции по высшей математике.

В нашей квартире мы с сожителем тоже понемногу устраиваемся... Хозяева очень приятные люди. Он служит в ларьке, она постоянно занята по хозяйству. Кроме двух детей, у них много живет или приезжает родственников, так что все население достигает 11—12 человек. По вечерам за ужином и после ужина у них идут шумные беседы. Старшие делятся воспоминаниями, младшие очень серьезно говорят о своей службе на почте, в ларьке и пр. Иногда беседа принимает даже религиозный характер, в которой, что удивительнее всего, принимают участие и младшие. Днем почти все уходит, я — после всех. Это мне очень удобно, т.к. я в это время по большей части пишу. Как и в Петербурге, время после утреннего чая для меня самое продуктивное. Между прочим, ты спрашивала меня, получаю ли я журналы. До сих пор, кроме 12 номеров «Вестника знания», я еще не получил ни одного. Хотя у меня очень много своей работы, но было бы интересно знать, что делается или сделано за эти 8 месяцев и по физике и вообще в мире. Мысленно я очень часто переносусь в Эрмитаж, который очень люблю. Но во всяком случае я понемногу начинаю оживать и в культурном отношении, и сама жизнь у меня становится культурнее, и я сам начинаю в себе чувствовать больше права на такую жизнь (16.10.31).

Но все же на него находило и минорное настроение:

Сегодня я себя чувствую неважно, лихорадка. Я пишу тебе это не потому, что было бы что-нибудь особенное, а потому, что ты жалуешься на меня, будто я описываю все в розовом цвете. Чтобы ты не беспокоилась, я буду посылать тебе эти дни открытки каждый день. Тебе спокойнее, а мне это скрасит мое существование. Пиши мне почаще. Вследствие раннего наступления темноты, памятуя мое обещание тебе не выходить в темноте из дома, я провожу длинные вечера в беседе чаще всего с самим собой и хотел бы эту беседу несколько поразнообразить (24.10.31).

Хворь меня еще не оставила. Утром я чувствовал себя хорошо. Поэтому я решил пойти пообедать в столовую, где действительно угостили нас прекрасным обедом. Выражаясь городским языком, на первое нам дали прекрасные не то щи, не то рассольник с мясом, капустой, картофелем и пр., на второе — отличного рябчика тоже с картофелем (рябчики, вероятно, местные, т.е. из здешних лесов, жирные и свежие), на третье — гречневую кашу. Неправда ли, не хуже города? И за все 95 к., т.е. 25 — обед, 70 к. — рябчик. Но зато туда и назад меня сопровождал ледяной ветер. Хотя я тепло оделся и был в сапогах, ставших теперь моими любимыми, но, вероятно, ветер захватил нижнюю часть моего затылка. Я очень веселый вернулся домой, но тут почувствовал головную боль. Тогда я лег на кровать, надел на голову шапку, которую ты же привезла, обмотал шею твоим же кашне, предварительно поставив на шею пониже затылка горчичник и покрылся шубой. Узнаешь ты, чей это портрет? Льва Николаевича, отца! Как я на него начинаю походить! Когда потом подали самовар (я чуть было не сказал «в столовую») — в кухню, и я выходил в описанном костюме и валенках, а вокруг самовара сидели дети хозяина, то я подумал и даже как-то почувствовал, что это был не я, а отец. Но ты не пугайся, вспомни, что отец тоже был мнителен. Природу не переделаешь. Это милое качество я получил от него... Лежа на кровати, я погрузился в воспоминания, что было очень приятно, и с духовной стороны (в особенности для меня, ты согласишься с этим при моем складе характера) очень полезно. Это

одна из хороших сторон жизни, которую ведут люди в моем положении. Другая хорошая сторона — это усиленное общение с людьми. Ты тоже подумай и об этом, и тоже прикинь это ко мне. Так что в общем все к лучшему в этом лучшем из миров (27.10.31).

А затем опять начались бесконечные поручения, что прислать: его прибор «Электрический глаз», кинофонарь от читающей машинки с двумя лампочками, трансформатор к нему же, какой-нибудь выключатель, шнур, розетку, штепсель, кое-какие монтерские инструменты, изолирующую ленту и т. п., не говоря о корректурах статей, о переводах их для отсылки в заграничные журналы, патенты. К нему опять ездила мама, одна и потом вместе с Таней. Они привезли всякое пополнение для его хозяйства, разные вкусные вещи, мы старались баловать его, сколько было возможно, хотя он и протестовал. Привезли и радио, которое он установил. «Я кончаю две статьи. Одну посылаю в Москву, а другую в “Вестник знания”» (13.11.31).

Условия жизни совсем деревенские, но домик наш уютный. Весь уклад жизни, постройка сама до мельчайших подробностей сложилась веками. Очень много в них здравого смысла и даже народной мудрости. Здесь Вологодский край, на границе с зырянами и коми. В языке очень много старинных русских слов. Я почему-то все вспоминаю Пушкина, как он жил в своей ссылке, и оцениваю «за» и «против». Конечно, очень много «против», но есть кое-что и «за». Это чрезвычайно простой и здоровый образ жизни, и очень много времени для работы (23.11.31). Я завел тетрадь, куда вписываю незнакомые слова, довольно много.

В одном из писем он перечисляет, что ему удалось сделать за последнее время:

Несмотря на невозможные жилищные условия и житье в бараке без всяких удобств и пособий, я сделал несколько теоретических работ, а именно: 1) редактировал свои статьи в «Вестнике электротехники», а) «Еще по вопросу об сопротивлении излучения» и б) «Обобщенная теория диполя и его лучеиспускания» 2) закончил и напечатал в «Вестнике по изобретательству» статью «Позднейшие достижения в области теории и практики фотоэлементов и фотосопротивления», 3) написал новую статью в «Вестник знания»: «Новейшие успехи в области теории и практики фотоэлементов и фотосопротивлений», 4) составил план экспериментальной работы и проект усовершенствованной модели читающей машины (отослан во Всероссийское общество слепых), 5) составил две статьи о своих изобретениях для Техштаба РККА (03.08.31).

Он стал все более жаловаться на неважное самочувствие, ему удалось прикрепиться в очень хорошую больницу водников, отчего у него настроение поднялось. Он думал, что у него неврастения, малокровие, и был, конечно, развивающийся склероз.

Тут случилось неожиданное событие: он получил предписание из Архангельска выехать туда к 14.12.31. Папиной судьбой заинтересовалась Елена Дмитриевна Стасова²²⁸, с которой мама была знакома в молодости и была в свойстве, так как мамин дядя был женат на сестре Елены Дмитриевны Зинаиде Дмитриевне. Мама очень стеснялась обращаться за помощью к ней, но все же пересилила себя и поехала в Москву. Елена Дмитриевна приняла ее с большой сердечностью, сразу узнала, хотя они не виделись очень много лет, называла ее «Ася» и на «ты», обо всем подробно расспросила и обещала что-нибудь сделать, многого не обещала, правда. Перевод в Архангельск был, вероятно, результатом ее вмешательства. Хотя это было хорошо,

так как Архангельск был большой город, но все же перспектива переезда, необходимость опять устраиваться в городе, где не было ни души знакомой, ехать одному — все это папу очень испугало. Он был уже далеко не так энергичен, как раньше, да и возраст сказывался. Он надеялся, что кто-нибудь из зятьев сможет проводить его или хотя бы встретить в Архангельске, смущали и вещи, которых накопилось достаточно. Но он приободрился себя.

Я задумываюсь над вопросом, что я буду делать в Арх[ангельске]. Я мечтаю о том, что там мне дадут педагогическую работу в Лесотехническом институте, который там недавно основан. Я могу взяться за эту работу, т.к. познакомился с этим делом здесь практически и теоретически. Вообще меня давно сосет мысль, что наши «девочки» и «мальчики» работают всюду, ты тоже, а я живу в вынужденном бездельи. Я думаю, что с переездом в А[рхангельск] наступит перелом в моей жизни, и я буду вносить свою долю в наше семейное общее дело. Будем надеяться! (07.12.31).

К сожалению, весь трудный путь от Котласа до Архангельска ему пришлось сделать самому, обиднее всего было то, что мой муж совершенно недавно был в командировке в Архангельске.

Выехал 11-го в прямом (беспересадочном) вагоне до Архангельска. В Вологде я думал получить от вас какое-нибудь известие, но ничего не нашел. Впереди передо мной был мрак неизвестности, как говорят плохие поэты. Меня пугали спутники главным образом отсутствием помещений в Архангельске. Меня же лично пугало, кроме того, какая-то нервная слабость, неуверенность в себе, которой я все время страдаю на почве малокровия. Но все хорошо, что хорошо кончается. Побродив без результата в поисках помещения, я собрался уже в сумерках переправиться через Двину на станцию с тем, чтобы там переночевать, когда я встретил одного слепого с женой, которому и рассказал о своем положении. Узнав от него, где находится отделение ВОС, я направился туда. Я, однако, не отошел от них и нескольких шагов, как слышу, бежит за мной жена слепого и просит меня зайти к ним переночевать. Свет оказался не без добрых людей! Однако мне не пришлось ночевать у них (на полу). Получив смелость и имея почву под ногами, я направился снова в гостиницу «Ресторан», где все было переполнено. Я как-то загипнотизировал заведующего, и он внес меня в список бронированных за одним учреждением. Таким образом я получил койку, которую сейчас и пользуюсь. Второе, что меня пугало здесь, — страшная дороговизна коммерческих обедов и цен. Однако и эта беда меня миновала. По-видимому, я обеспечен тоже бронированными обедами за 50 к. Что касается, наконец, самого дела, ради которого я приехал, или, лучше, меня «приехали» сюда, я боюсь сказать что-нибудь определенное. По-видимому, и они не знают, что из этого выйдет. Получается впечатление, как будто в этом деле никто особенно не заинтересован, кроме, конечно, меня (15.12.31).

Долго не могла наладиться его жизнь на новом месте, ему хотелось даже вернуться в Котлас, в уже привычные для него условия. Теперь он жил в комнате с 14-ю другими людьми, весь багаж размещался вокруг его койки.

Но все же его продолжают интересовать его статьи.

Затем второй вопрос, который лежит на моей душе: это — печатание моей статьи в «Вестнике электротехники». Почему они так затянули это печатание? Если мой переезд прервал мою связь с редакцией, то пусть они не присылают мне корректуры и правят сами. Я готов пожертвовать несколькими возможными ошибками ради быстроты. Они говорили, что правят хорошо. Затем маме передай, что если ей затруднительно посылать немецкий перевод, который ей сделал Зункау, в заграничные журналы, то пусть она подождет с этим делом. Наконец, пожалуйста, кто-либо из вас узнайте, напечатана ли моя статья в «Revue générale de l'électricité»²²⁹ и

напишите мне. Вообще мой приезд сюда внес полное расстройство в мою жизнь, и я не знаю, когда я войду в колею (21.12.31).

Наконец наступил некоторый просвет. Он переехал на частную квартиру, а также получил разрешение работать в Лесотехническом институте, в лаборатории проф. Покотило. Но настроение у него было плохое.

В твои интересные сведения я что-то не верю и тебе не очень советую. Я знаю только то, что живу в углу, у пьяного и грубого мужика, и не знаю, что со мною, а также со всеми мне подобными будет завтра. Я совсем не нахожусь в каком-либо привилегированном положении. <...> С отъездом из Котласа кривая моего благополучия упала вниз. Как здесь грязно, и как здесь грязно живут! Я чувствую, как меня эта грязь засасывает, но надеюсь, что я уже прошел достаточную школу, и кривая моя выправится. Во всяком случае, эта грязь не так страшна, как моральная грязь, которой здесь довольно много (01.01.32).

Единственно радостными были для него перспективы продолжения лабораторных работ: «Что самое важное для меня, я, вероятно, буду иметь возможность засесть за работу в лаборатории, что, как ты знаешь, составляет мою стихию» (21.01.32).

Передай маме, что проф. Покотило приехал 25-го и привез мне письма и посылку. Вообще он очень любезен. В тот же день представил меня директору Лесотехнического института и, если не будет других препятствий, я получу разрешение работать в физической лаборатории для себя лично, а также мне, возможно, будет поручена исследовательская работа для института (по древесине). Последнее дает мне положение здесь и вознаграждение. Тем временем за этот месяц я написал две статейки по вопросу о применении электричества в лесной промышленности для газеты «Правда Севера» и для журнала «Хозяйство Севера». Я их сдал и жду результаты. Здесь вообще, конечно, больше культуры, чем в Котласе. Имеется очень хорошая и уютная научная библиотека с большим количеством изданий, касающихся Севера. Два городских театра: один старый и другой, только что открытый, для драмы и балета. Два больших кино, один — для звучащих фильмов. Прекрасный трамвай с вагонами, не уступающими столичным. Электрическое освещение по всему городу. Хорошие (деревянные) тротуары. Два кафе. Ресторан для иностранцев, куда имеют доступ и местные жители (28.01.32).

Немного лучше стало с жильем:

Я тоже устраиваюсь более прилично, чем раньше, хотя и в той же квартире. Дело в том, что хозяина убрали от нас, по-видимому, за дело. Он был скряга невероятный и совершенно загадил квартиру. Теперь мы взяли проходящего украинца. Он ставит по утрам самовар, затопляет печь, приносит воду, убирает квартиру и пр. Квартира, в общем, оказалась хорошей, состоит из двух комнат, одна очень большая. Нас всего живет 6 человек мужчин. Очень теплая квартира» (06.02.32). Я был сегодня в местном отделении ВОС. Условились, что из Ленинградского отделения ВОС к тебе пришлют за читающей машинкой, чтобы переслать ее сюда (13.02.32).

Понемногу он сделался бодрее. «На днях я написал Лидочке. Последнее письмо, к сожалению, я написал в очень мрачном духе и жалею, что послал. Пусть она считает его ненаписанным, как это говорят тонкие дипломаты. Конечно, такое разочарованное настроение мне не к лицу, и оно неверно».

Появились новые планы. «Я перечитал почти все, что издано здешним ГИЗОм по лесной промышленности, и хочу написать популярную книжку об электрификации Северного края» (24.02.32).

Из прежней квартиры все мои сожители выехали, и я остался один. Сейчас я помещился в большой кухне в квартире вдовы, живущей здесь уже 20 лет. У нее семья, состоящая из 2-х детей. Живут они в 2-х комнатах; я, как сказано, занимаю койку в кухне около стены. Кроме меня, квартирантов нет. В кухне большая русская печь, очень тепло. Вообще сухо и чисто. Плачу 25 рублей. Живем как бы одной семьей. В остальном, однако, мои дела очень хороши. Я получил разрешение работать в физ[ической] лабор[атории] Лесотехнического института и хожу туда каждый день и работаю. Но самое главное, что я считаю большой победой: моя статья «Обобщенная теория электромагнитного поля и излучение диполя» напечатана в [№] 11–12 «Вестника электротехники». Это очень укрепляет мою научную репутацию здесь и за границей (она снабжена резюме на английском языке), а это, в свою очередь, не может не отразиться на моем будущем. Поэтому я очень прошу тебя или кого-либо из вас: достаньте оттиски статьи и штук 10 пришлите сюда. Затем ты можешь получить гонорар за статью. Я посылаю простую доверенность, т.к. мою подпись должны знать в редакции хорошо. Но главное, я хочу известить тебя о перемене адреса и получить от тебя письмо и оттиски. Очень, очень благодарю вас за посылку, которую вы так удачно собрали для меня. Все пришло в целости и совершенно свежем виде, и конфеты, и сыр, и икра, и масло. Только не лишайте ничего себя из-за меня, так как и у вас продовольственное дело требует больших средств и хлопот. Целую вас всех крепко. Что внушки? Пишите побольше о них. Последнее Танюшино письмо о них я прочел с большим интересом (01.03.32).

В обиход стали входить Торгсины²³⁰, что видно из перечня посылаемого, и мы усиленно стали превращать золотые вещи в продукты. Раз мама получила за папину статью в заграничном журнале перевод на Торгсин. Опять жизнь немного наладилась, но было ужасно, что он не имел собственного угла. Из-за этого прекратились временно и наши приезды.

Моя жизнь начинает входить в норму. С утра ухожу в Лесотех[нический] институт, там остаюсь до 4-х часов. В 12 там же завтракаю. Относительно обеда все еще не устроился в столовой. Приходится обедать через 1–2 дня по коммерческой цене. Но это хотя и дорого, однако, можно хорошо напиться. В другие дни питаюсь посылкой или покупаю на базаре и что-нибудь стряпаю. После 4-х часов я бываю обычно в Публичной библиотеке. В 10 часов вечера я пью чай вместе с хозяйками и ложусь спать. Пользуюсь сейчас полным здоровьем, вследствие чего могу здесь выдерживать пребывание как угодно долго... (11.03.32).

Затем он заболел гриппом, хотел, чтобы мама приехала, но где было остановиться. Радовала его только публикация статей.

В журнале «Электричество»²³¹ поместили мою статью, ту же, что и в июле в «Вестнике по изобретательству» («Новейшие достижения в области теории и практики фотоэлементов» и т.д.), напечатали полную статью со всеми поправками идеально. Так как «Электр[ичество]» имеет тираж 11000 экз., то это для меня в смысле популярности и освобождения очень выгодно. Однако редакция сделала ядовитую приписку: мол, теория очень полная, но о приложениях фотоэлементов ничего не сказано; кроме того, ничего не говорится об успехах советских фотоэлементов. Они забыли, что о приложениях фотоэлементов я написал два года назад целую статью в «Электричестве», которая переведена и печатается теперь, как ты знаешь, в Париже. (Кстати, вышла ли, наконец, она?). Что касается советских успехов, то точно они не знают, что советские патенты о фотоэлементах почти не обнаружены. Приходится писать только о заграничных патентах. Кроме того, я целый год не читал литературы не по моей вине. Я об этом напишу им в редакцию.

Наконец мама собралась в поездку. В предвкушении ее приезда папа пишет: «Какой ты делаешь мне подарок своим приездом! Но в то же время, какая это жертва со стороны всех вас, если бы не то, что мы не виделись около 5 месяцев, я бы ни за что не согласился бы на твой приезд. Очень труден переезд, но пребывание здесь еще труднее» (31.03.32). Но мама побывала у него, привела все в порядок, привезла необходимое и увезла лишнее.

«Сейчас я заканчиваю четвертую по счету статью о фотоэлементах для «*Электричества*» по заказу из Москвы», — пишет он после ее отъезда, также об игрушках для внушек:

Для Маечки я купил еще три игрушки, крокодила и страуса и прелестную рыбку. Я уже установил свои опыты с фотоэлементами в Институте и получил хорошие результаты. Дома же я заканчиваю теоретическую статью о тех же фотоэлементах по заказу из Москвы и после 1-го мая пришло. Относительно моих остальных статей я прошу тебя о следующем. В моих бумагах осталась моя рукопись «*Новые диалоги Галилея*» (о двух системах мира), которой я очень дорожу, так как она посвящена памяти Тamarочки. С нею связана вся моя научная работа последних 15 лет, приberi ее как следует. Второй экземпляр этой рукописи находится в лаборатории. Позаботься, пожалуйста, также и о ней. Затем я все подумываю о 3-м издании моей книжки: «*Учение о свете и об оптических инструментах*». Издание «*Знание для рабочих*». Она прекрасно издана издательством, кажется, «*Полиграфическая промышленность*», так что не уступит заграничным изданиям. Вернувшись, я постараюсь перевести ее на немецкий язык, но и сейчас заметь ее на черный день (28.06.32).

Он все пытается соблазнить нас прелестями Архангельска, чтобы кто-нибудь приехал, но у нас была работа, дети, как бы мы к нему ни рвались.

Здесь наступает сейчас весна, хотя и поздняя. Вид на Двину очарователен. Это удивительно многоводная река. Местами ее ширина достигает семи верст; вид и воздух из нее морской. Летают чайки, и непрерывный прибой. Вдоль берега набережная длиной 4–5 верст. По реке бегают большие и малые пароходы, парусные лодки, катера и пр. Воздух насыщен йодом, озоном, так что, несомненно, здесь можно поправиться. Появилась свежая рыба, между прочим, очень хорошая килька величиной с корюшку. Ее подают с зеленым луком и постным маслом. Затем достопримечательность Архангельска — прекрасные деревянные особняки, самой разнообразной и прекрасной архитектуры. Хотелось бы повидать вас здесь кого-нибудь (21.05 32).

Папа за это время стал нам гораздо ближе, хотя и был далеко. В письме от 25.05.32 он пишет: «На днях я послал еще одну статью в журнал «*Электричество*» под названием: «*Новое о механизме света и фотоэлектричестве*». Затем в конце мая будет напечатана моя статейка в здешнем журнале: «*Хозяйство Севера*». Название статьи «*Электротехника на распутье*». Можно только поражаться его работоспособности и продуктивности, принимая во внимание его бытовую неустроенность, житье в общей кухне!

Начал писать для журнала «*Электричество*» все, что я разработал по своей теории магнетизма за 40 лет. В мае этого года исполнилось ровно 40 лет, как я сделал свой первый доклад в Рус[ском] Физ[ико-]хим[ическом] общ[естве]³². С тех пор я неизменно шел по тому же пути, и теперь я свою теорию заканчиваю. Что касается моих опытов для слепых, то я построил новую машинку для них независимо от той, которая осталась в Ленинграде. На днях я демонстрирую им ее. В Институте я уже демонстрировал ее... Я чувствую, что становлюсь более крепко на ноги

и, может быть, буду иметь силы зарабатывать по-прежнему. Во всяком случае, репутация моя в научном отношении, безусловно, значительно выше, чем раньше, и имя мое все чаще и чаще упоминается не только в научных журналах, но и в газетах (напр., в газете «*Московская правда*» от 27 мая в своей статье Лапиров-Скобло, один из научных руководителей ВСНХ, пишет: «Основная идея катодного телевидения была впервые предложена англичанином Свинстоном и нашим ленинградским профессором Розингом и пр.» (06.06.32).

Вчера у меня был удачный день. Как я тебе писал, несмотря на то, что из Москвы от ВОС до сих пор денег не присылают, я закончил разработку ориентировочного прибора для слепых. Этот прибор в черновом виде ты мне привезла с собой еще в Котлас. Вчера у меня были три слепых члена местного правления ВОС. Я им все показал. Они поняли устройство и употребление прибора и сами даже предложили с точки зрения слепых свои усовершенствования. На днях я им сдам прибор и должен получить 150—200 р. Если мне они не выдадут из месячных средств, то постараюсь прибор продать институту, для которого я этот прибор разработал совместно с ВОС. Я считаю, что эти деньги принадлежат вам, которые за это время столько переслали этого презренного металла (21.06.32).

Он так боялся быть нам в тягость, все время он пишет, чтобы мы так много не посылали торгсиновских продуктов, и уверяет, что у него все есть и он прекрасно питается. Но все же он хочет переехать в Вологду, его соблазняет большая близость к нам, но было много против:

В материальном отношении мое положение в Ар[хангельске] улучшается. Я получаю хлебную карточку и обеды до 1 сентября. Это много значит. В Вологде же придется все устраивать сначала. Затем, конечно, Вологда гораздо менее интеллигентна, чем Ар[хангельск]. Зато ваша близость все покрывает... Вообще мое здоровье ничего себе. Но есть известная слабость и, главное, нервность. Тяжелее всего то, что я все время один и один. На днях разъезжаются почти все знакомые из института на 2 месяца, в том числе Покотило в семьей. В моем распоряжении остается вся физическая лаборатория и книги (27.06.32)

Появилась надежда на поездку в Москву на съезд деятелей промышленности слабого тока, он получил письмо от энергетического комитета организационного бюро с приглашением принять участие. Он это письмо представил, куда следует, и ему обещали послать его на этот съезд. У него уже есть тема доклада: «*О современных фото-элементах, их теории и применениях*». Но он стал себя значительно хуже чувствовать.

Я был от Крайотдела ВОС в Центральной амбулатории им. Ленина. Специалист по нервным болезням нашел у меня атеросклероз мозговых сосудов. Перед этим мне то же сказал частный врач Заблоцкий. По-видимому, опасности нет. Заблоцкий сказал: «*Теперь (или сейчас) никакой опасности нет*». Но я должен был идти на это в своей научной работе — на эту жертву. Ты, конечно, также сознательно отнесешься (03.08.32).

К нему поехала Таня, ее приезд его очень взбодрил. «Я с каждым днем поправляюсь — в своем самочувствии, хотя, думаю еще продлить свой отпуск.» (14.08.32). «Память и самосознание мои вполне восстановились. Мы еще поборемся, как говорит старый воробей у Тургенева» (21.08.32). Лучше стало и с жильем.

Вчера я нанял комнату в квартире на Поморской улице (ты знаешь, где большой ресторан или кафе, где мы обедали), №52 (угол Костромской), № квартиры 8. Квартира из двух комнат,

Нестор № 12. Русская жизнь в мемуарах

живут две женщины с двумя девочками. Одна служащая, другая ее сестра прачка. Очень приличные. Комната с одним окном, тоже вполне приличная, с мягкой мебелью, прекрасной кроватью и пр. Будет, вероятно, теплая, так как рядом с кухней, которая часто топится (русской печью). Одним словом, вполне городская квартира, с электрическим освещением. К сожалению, комната дорогая: буду платить 60 р. в месяц — это неизбежно при здешней дороговизне (24.08.32).

27 августа он пишет Тане:

С твоей легкой руки я, наконец, обрел тихую пристань. А.М.²³³ через своего знакомого устроила меня в семье, состоящей из двух сестер с двумя дочками-девочками. Все они очень внимательные, и у них очень приятно мне, вероятно, будет житься. Я занимаю целую комнату с двумя окнами, и вчера с большим удовольствием растянулся впервые за 1,5 года один, на прекрасном волосяном и широком тюфяке. Я только теперь понял, какой ужас представляет собой непрерывный надзор как явный, так и скрытый, как будто незаметный, но на самом деле не менее тяжелый. Возможно, что и нервы мои истрепались потому, что все время пришлось жить как бы на виду у всех. По крайней мере, вчера закрыл двери и, легши в постель, я почувствовал не только физический, но и глубокий душевный отдых.

И маме:

Вот уже 5 дней я живу на новом месте. Мы, по-видимому, хозяева и я, — взаимно довольны друг другом: и меня не слышно, и их также не слышно. Я чувствую себя, как если бы я жил в своей комнате на 9-й линии. Комната моя здесь такая же, как была там. Три раза в день ставится самовар, днем топится русская печь. Я могу пользоваться безвозмездно теплом печи, что очень важно, когда наступят холода: дверь моей комнаты отворяется в кухню (30.08.32).

К сожалению, хозяйка оказалась впоследствии не такой уж приятной и достаточно попортила ему нервы. Желание переехать в Вологду стало слабее: «Мне переехать в Вологду неосторожно. Тут меня все знают: вчера, например, меня сняли с учета для ссыльных; в Вологде я снова смешаюсь с толпой, по крайней мере, в первое время».

Общее здоровье мое восстановилось, как я писал тебе. Хуже всего я себя чувствую, когда сижу в тесном помещении и приходится говорить (что мне было, как ты знаешь, всегда трудно), и при этом умственно напрягаться. В это время я чувствую, как мозг мой стягивает какое-то кольцо. Но вообще думать и писать мне никогда не тяжело. Я думаю дождаться приезда Покотило и приступить к экспериментальной работе в хорошо вентилируемом помещении и постепенно. Я думаю построить для института, как мы условились с Покотило, мой катодный осциллограф для записи звуков, преимущественно сердечных биений (кардиограмм). Это очень важно для здешних больниц. Этот прибор уже мною давно разработан, и я с ним уже проделал ряд опытов (13.09.32).

В общем, опять наступила лучшая полоса.

Вчера же я получил вместе с вашим телеграфным переводом любопытное письмо из Москвы от Энергетического комитета. Он мне написал еще в мае приглашение на съезд, как вы знаете. Теперь, 7-го сентября, я решил ответить ему сообщением, что могу сделать доклад на одну из двух тем, но я не могу распоряжаться собою, так как нахожусь в ссылке. Вчера, т.е. через три дня, я получил ответ от заместителя председателя Энергетического комитета и председателя съезда, что они просят прислать доклады на обе темы и что если эти темы будут приняты президиумом, то оба доклада будут оплачены. При этом оба доклада должны быть присланы к 1-му октября. Но самое главное, это то, что если доклады, в свою очередь, будут приняты

Л.Б. Твелькмейер. *Мой отец и его окружение*

президиумом, то в заседании президиума будет возбуждено ходатайство перед надлежащими органами о моем личном участии в съезде, хотя я их об этом лично не просил (15.09.32).

И 22.09.32:

Я уже завтра кончаю мой первый доклад: *«Излучение энергии антеннами с точки зрения обобщенной электродинамики»*. Через неделю я закончу второй: *«Незатухающие колебания в фотоэлементах и их технические применения»*. Таким образом, к 1-му октября успею послать их в Москву. Это две работы, над которыми я сидел эти два года.

Это все та же работа об испускании энергии антеннами. Я, как ты знаешь, доказываю, что антенна, когда она испускает простые «немодулированные» колебания, не затрачивает никакой энергии. Она требует и затрачивает энергию в пространство только тогда, когда она посылает на своей «несущей» волне какие-нибудь сигналы, напр., разговор, пение и пр. С точки зрения экономии энергии это открытие очень важно. Оно важно также с философской стороны, так как основано на теории существования двух систем волн: убегающих от антенны и сбегающихся к ней; когда же существование этих вторых волн будет наукой принято, то будет принято и мое учение, изложенное в моей книге *«Новые диалоги Галилея»*, которую мне тогда удасться и издать. Вчера был холодный, ветреный день, и я почти весь вечер гулял в уединении на берегу Двины и многое вспоминал, для чего, как известно, нет лучше времени, чем мое. Сегодня, наоборот, подул южный ветер, и с утра была теплая и солнечная погода. Жители А[рхангельска] высыпали в большом числе гулять по своим бесконечным улицам, которым нельзя отказать в их большой чистоте, и прекрасным тротуарам, а самим жителям в любви к воде во всех ее видах и мытью. В этом отношении они как-то походят на голландцев, даже по виду. Например, сейчас у нас гостит отец хозяйки, 74-летний помор, настоящий голландец. Сейчас я слышу, как он учит по карте свою внучку: Белое море, океан и пр. К этому присоединяются разговоры о пароходах, лодках. А с реки в то же время слышны разнообразные свистки тех же пароходов. К этому еще присоединяется голубоглазый тип населения, а в городе бесчисленные деревянные дома причудливой постройки и церкви, на которых еще существуют кресты и под вечер происходят службы с прихожанами, забегаящими, чтобы приложиться к иконам, и убегающими. <...> Здоровье мое в порядке. Но у меня осталась светобоязнь, т.е. боязнь к солнечным лучам, которые в это время особенно пронзительны (благодаря прозрачности воздуха) и почти горизонтальны, вследствие чего они особенно сильно действуют на голову. <...> Посланные мамой валенки я только что раскупорил и нашел письмо и мелочи. За все очень благодарен, а больше всего за желание приехать. Скажи ей, что я без нее пропадаю. Это я говорю вполне серьезно. Доктор, у которого я вчера был, тоже советует ей ко мне заглянуть (26.09.32).

Никогда родители, видимо, не были так близки, как в это тяжелое время. Мама меньше скучала, чем он, естественно, она оставалась в привычной обстановке, в бесконечных хлопотах с внучками, с хозяйством, с папиными поручениями, с отправкой денег и посылок. Папа так трогательно мне говорил о маме, о последнем ее приезде: *«Мама была такая интересная, в такой хорошенькой шляпке, точно артистка»*. Оставалась надежда на съезд:

Я был, где бываю каждые 10 дней, и мне сказали, что, по всей вероятности, меня отпустят в Москву на съезд, чтобы я продолжал писать. Но я один доклад написал и теперь хочу немного повременить. У меня стала слабая голова (или сердце?), как в известном водевиле Чехова *«Предложение»*. То там кольнет, то здесь сведет. Очень влияет жара, солнечные лучи, как уже вам писал (29.09.32).

Из Москвы приехал председатель здешнего краевого отдела Общества слепых и привез известие, что моя смета расходов постройки читающей машины на 1,5 года утверждена ЦИТИНом (Центр[альным] инст[итут]ом] труда инвалид[ов]). По крайней мере, там просили открыть мне кредит из здешних средств на 500 р. для расходов на перевозку читающей машины, находящейся у нас дома, сюда для ремонта и предварительных опытов. Затем будет строиться следующая, более усовершенствованная модель и, наконец, третья модель, которая будет по моему проекту в буквальном смысле читать печатный шрифт человеческим голосом!.. Что касается съезда, то мой первый доклад «*Излучение энергии антенной с точки зрения обобщенной электродинамики*» я уже послал и на днях пошло тезисы к нему. Я вместе с тем буду просить президиум бюро написать сюда о необходимости мне приехать в Москву для участия в съезде и выставке при нем 15 ноября. Таким образом, я приближаюсь к вам на воробьиный шаг (05.10.32).

Наконец и я получила возможность съездить к папе, освободившись от ребенка. Выглядываю из окна и вижу на перроне папу в его енотовой шубе и барашковой шапочке, постаревшего, конечно, сразу меня грустно поразило отсутствие у него нескольких зубов. Затем пересекли Двину на парохоме и дальше поехали трамваем по бесконечной улице Павлина Виноградова до папиного дома. Комната мне показалась вполне приличной, очень чистой, даже с фикусами у окон. Папа, конечно, уложил меня на кровать, а сам устроился на полу, иначе никак не соглашался. Мы провели очень уютно несколько дней, много обо всем поговорили, я чинила ему белье, наводила порядок в его вещах, а он хозяйничал. Обедали мы в ресторане «*Интурист*», гуляли по городу, который папа с гордостью демонстрировал, в сущности, он тогда состоял из одной очень длинной главной улицы вдоль Двины, от которой шли короткие перпендикулярные к ней улочки, застроенные деревянными домиками. Портила наши прогулки очень резкая погода, все время дул ледяной ветер, хотя снега и большого мороза еще не было, я порядочно промерзла, не одевшись как следует для севера. 2 ноября мне пришлось возвращаться к моим материнским обязанностям. Папа меня проводил через Двину, усадил в вагон, это был последний раз, что я видела его относительно здоровым, хотя держался он бодро, не уставал от ходьбы и разговоров.

С грустью я проводил 2-го Лидочку и дал вам срочную телеграмму. Очень благодарю вас всех и Лизу за подарки: твой крендель, Лизин бисквит, сыр, масло и пр. Очень тронут за внимательное письмо о моей болезни со стороны Петра Кузьмича. Я несколько раз прочитал письмо и буду тщательно ему следовать. По-видимому, это был солнечный удар, последствия которого продолжают сказываться: в голове остается какой-то мусор — нет-нет, да и сбиваюсь в словах и буквах; хотя и раньше язык у меня не совсем слушался. Однако ты не должна меня очень упрекать: я брал очень мало солнечных ванн. Здесь вообще какое-то проклятое солнце. Это заметила даже Лидочка. От него спрятаться очень трудно. Как я уже писал вам: оно меня еще раз обожгло уже в октябре. Как я ни прятался под шляпой, но мне пришлось 1/4 часа идти по берегу Двины, и оно обожгло мне висок, который я и сейчас слышу, т.е. чувствую. Мне хотелось бы пожить в мягком и ровном климате. Здесь это невозможно. Например, вчера был мороз -15° , а сегодня уже тает... Между прочим, меня очень обрадовало, что, по-видимому, моя статья «*Participation des savants russes*»²³⁴ напечатана. В ней я рассказал о всех своих изобретениях, о которых европейцы раньше не знали. Теперь нужно будет напечатать о моих теориях последних лет. Эту статью я напечатал в том же журнале, а затем там же думаю написать о моей теории магнетизма, которую я написал 40 лет тому назад, когда мне еще было 23 года. Хотя она была напечатана в «*Philosophical magazine*»,²³⁵ но я был очень молод, и о ней сейчас никто не знает. Я, однако, ее считаю не хуже других. Это был мой первый печатный труд, и эти труды, ты знаешь, бывают свежее всех остальных (04.11.32).

Второй доклад о фотоэлементах я пишу, но очень медленно, так как сижу совершенно без литературы и журналов (28.11.32).

Временами он начинает падать духом.

Я чувствую, что я как-то ослабел за это время — 8 месяцев, как мы не видались. Ты не суди по письмам. Для письма как-то само собой это делается— выбираешь лучшие минуты. Я всю жизнь провел с пером в руке и, уже взяв перо, невольно делаешься совсем другим. Приезд кого-либо из вас на короткое время тоже невольно изменяет. Мне хотелось бы, чтобы ты выбрала время и пожила бы здесь не меньше недельки. Теперь выяснилось, что меньше года мне не придется здесь провести (29.11.32).

И вместе с тем он боится за маму.

Ты меня очень обрадовала своим письмом. Спасибо вам всем. Твоим приездом ты меня очень укрепишь. Несомненно, я стал неврастеником. Мое самочувствие скачет от одного состояния к другому, и мне нужно нравственное оздоровление, что ты с собой принесешь. Но я боюсь за тебя: очень тяжелая дорога. Здесь, в Архангельске, стоит мороз, хотя и небольшой. День (в ответ на твой вопрос) наступает позже нашего — около 10 часов. Погода непрерывно меняется. Утром было ясное небо, сейчас идет снег. Двина еще окончательно не замерзла, вернее сказать, ледокол не дает ей стать. Не подождать ли тебе с приездом? Решай, как хочешь, так как одно то, что приедешь, для меня много значит. Не подождать ли тебе моей телеграммы о том, что переправа наладилась? А может быть, к тому времени я получу ответ из Москвы (благоприятный). Пожалей себя, прошу тебя. Сейчас я отдал в переписку мой второй доклад. 15-го числа посылаю в Москву, это, наверное, ускорит там мое дело (11.12.32).

Мама побывала у него.

Я не знаю, как благодарить тебя за все то, что ты сделала в этот приезд для меня. Вернувшись после проводов, я все думал, как ты добралась до станции и, когда буран успокоился, хотел отправиться туда, но мне не хотелось еще более усложнять проводы. <...> Мое здоровье в прежнем положении. Биения в виске продолжаются. Я нахожу, что это шалит сердце вследствие недостаточной вентиляции комнаты и избытка углекислоты или окиси углерода. Нужно поменьше сидеть дома, что я и делаю. Сегодня сделал хорошую прогулку и пообедал в кафе, где я обедал без тебя. Я сегодня разрешил себе мясное блюдо — почки в томате, и почувствовал себя бодрее. Хотя как-то дела мои складываются печально, но я — неисправимый оптимист и надеюсь на лучшие дни (23.12.32).

Затем его постиг удар: съезд был отменен, и с этим [рухнули] все надежды на поездку в Москву и заезд в Ленинград. Кроме того, начались недоразумения с хозяйской квартиры вплоть до решения искать другую комнату. В последнем письме, написанном перед заболеванием, он пишет:

Я ошибся в стилях и поздравил Танюшу с именинами, которые будут только через 13 дней, т.е. 25-го. Мои дела в прежнем положении за тем исключением, что я снова поссорился с хозяйками, теперь уже с обеими, из-за права пользоваться кухней. Они вздумали систематически запираť самовольно дверь в мою комнату, что, конечно, меня стесняет. Я заявил им, что считаю кухню помещением общего пользования, что они не платят за эту жилплощадь и т.д. Ты, конечно, найдешь это мелочностью, может быть, ты и права. Нервы мои что-то расшатались. Относительно биения в ухе, которое продолжает меня утомлять, я посоветовался с моим врачом. Он считает, что это не от угара, так как в таком случае биения были бы в обоих ушах. Он

полагает, что одна из артерий в левом ухе расширилась и кровообращение несколько испортилось. Советует обратиться к ушному доктору. Кроме того, он нашел, что у меня простужена шея сзади. Возможно, что я систематически простужаюсь из-за здешних ветров. То-то я заметил, что здешние жители все время ходят с поднятыми воротниками. В чужой монастырь, как видно, со своим уставом не ходят. Нужно делать то же самое. Я уже заметил, что нужно учиться местной мудрости. Когда это кончится, наконец, моя Одиссея. Большое вам спасибо за посланные 300 р., они меня очень устраивают, хотя боюсь остаться перед вами неоплатным должником; в эти дни я получил чрезвычайно хорошие результаты с читающей машинкой, что поднимает мой дух и надежду на ближайшее будущее. На присланные вами деньги я купил фунт подсолнечного масла. Сегодня мне удалось купить 3/4 фунта сливочного масла. Пользуясь моим знакомством со здешними столовыми, я установил следующий пищевой режим. Каждую шестидневку я один день ем мясное (например, печенку в одном ресторане), затем два дня рыбу (треску в другом ресторане) и три дня питаюсь по-вегетариански (кашу, винегрет и пр.). Очень помогает мне моя хлебная карточка по 1-й категории, которая составляет мой фонд. К сожалению, не могу наладить самоснабжение молоком, которое здесь у местных крестьян великолепное. Твою посылку я еще не получил. Приезжала ли Лидочка? Как только вернется, пусть немедленно мне напишет, узнала ли что-нибудь насчет моих докладов. Если их не печатают, я хочу обратиться в Энергетический комитет. Доклады касаются вопросов энергии, и они могут их принять. В крайнем случае я обращусь к другому учреждению. Пиши, пожалуйста, о ваших делах и внучках. Здесь у нас установился прекрасный санный путь, почтовое и другое сообщение. 8-го февраля останется ровно год моей ссылки. Может быть, кто-нибудь ко мне заглянет? (12.01.33).

По этому письму видно, что нервы у него были в очень плохом состоянии, и катастрофа была неминуема.

Однажды сотрудники лаборатории заметили, что папа стал очень неясно говорить, путать слова, хотя и понимал все, что ему говорили. Его проводили домой, вызвали врача, и он, бедный, провел одинокую ночь, вероятно, понимая, что с ним произошло. Наутро ему стало совсем невмоготу одному, и он пришел к одним своим знакомым, Замяткиным, и попросил у них пристанища. Они его у себя оставили и известили нас телеграммой, мама немедленно выехала и больше его не покидала.

Теперь началась и мамина страда, особенно первое время, пока они не переехали в комнату на Лопарской улице, которую папе подыскали еще до его заболевания. Врач определил у него кровоизлияние в центре словесной речи, предписал покой, легкую пищу, постепенно велел упражняться. Папа стал это делать, и сохранилось много исписанных им блокнотов, где он пытается вспомнить написание различных слов, фамилий, имен, упорно добиваясь правильного, вспоминает таблицу умножения. В результате 10 марта он пишет первое письмо Тане, совсем без ошибок, хотя и коротенькое.

Милая Танюша! Очередь пришла мне подежурить около мамы. Мама заболела гриппом, и вчера 9 марта температура была 38, а сегодня 39. Мама не жалуется, ничего особенного. Нужно надеяться, что ее болезнь ограничится обычным гриппом. К счастью, мама успела закончить с возней с карточкой. Вчера, т.е. 9-го, нам, т.е. вернее ей, удалось получить карточку по первой категории 1А. Таким образом, удалось получить хлеб до 2-го апреля. В остальном без перемен. Не получаем ни писем, ни посылок, ничего не знаем, что у вас делается. Любящий вас папа.

И мне от 22 марта:

Сейчас в Архангельске чувствуется влияние весны. Вследствие этого мое времяпрепровождение сводится к прогулкам, еде и небольшому количеству работы, что, впрочем, и требуется от такого

Л.Б. Твелькейер. Мой отец и его окружение

инвалида, каким я сейчас нахожусь по указанию врачей. Я надеюсь, однако, скоро освободиться от опеки докторов и стать вольным гражданином. Большое спасибо, дорогая, тебе за всю твою заботу обо мне. Передай мой поклон Виктору, Казимире Константиновне и Марии Федоровне. Как поживает дорогая моя внучка? Любящий тебя отец.

С отъездом мамы у нашего дома точно душу вынули, не говоря о множестве забот, которые свалились на нас с сестрой, — столько она делала, снимая с нас все заботы по дому, теперь все сами, да еще работа. В это время у нас был большой заказной конкурс, работало много посторонних, во всех комнатах были чертежные доски. Деньги надо было зарабатывать во что бы то ни стало, чтобы посылать в Архангельск, а также собирать и отправлять бесчисленные посылки. В Ленинграде было трудно с продуктами, все было по карточкам или за большие деньги у спекулянтов, а в Архангельске стало и совсем голодно, родители существовали только присылаемым. Широко стали пользоваться Торгсином, носили туда последние золотые вещи, это тоже отнимало время. Кроме тревоги за папу, появилась боязнь, что и мама может свалиться в непривычном для нее суровом климате. К довершению всех бед, Маика заболела скарлатиной, и мы все, кроме Тани с ней, выехали из дому, кто куда. Все было очень сложно.

10 февраля родители перебрались от Замяткиных к добрейшей Александре Петровне Поповой в ее маленький, совсем деревенский домик на Лопарской улице. Александра Петровна сделалась самым верным другом нашей семьи и оставалась таким до своей смерти. Простая стрелочница, малообразованная, но умная, бесконечно добрая, типичная поморка-северянка из коренных архангельских жителей; если бы папа к ней раньше попал, как это облегчило бы ему жизнь! Она рано потеряла мужа и жила с сыном, мальчиком 11 лет тогда, которого потеряла в первый же месяц войны. Чтобы иметь еще небольшой доход, она сдавала одну комнату, и жили у нее обычно ссыльные, которые видели от нее столько забот и тепла, что никогда потом ее не забывали. Единственным минусом нового жилья была его удаленность от центра и от папиных немногочисленных друзей, семей Покотило и Замяткиных, делавших все, что было в их силах, чтобы облегчить его положение.

На новом месте папа стал себя чувствовать значительно лучше, мама оградила его от всех забот, взяла все на себя, как трудно ей это ни было. Особенно трудны были поездки в город по сильному морозу при плохом транспорте, так как трамваи то ходили, то не ходили, за всем были очереди, и за получением хлебных карточек, и на почте, и за продуктами. В конце концов она сама заболела гриппом и довольно сильным, папа отделался небольшой простудой и мог уже за ней ухаживать, сам ходил за хлебом и на почту, но все же в письмах мама жаловалась на его раздражительность и мрачность.

И тут опять случилась катастрофа. Он поехал в город за карточками и на обратном пути, выходя из трамвая, упал с параличом левой стороны. Соседские ребяташки прибежали сказать об этом маме, но когда она вместе с Александрой Петровной добежала до остановки, даже саночки захватили, там была уже карета скорой помощи, и мама растерялась и позволила его увести в больницу, хотя, как потом выяснилось, лучше бы ему было остаться дома. Получив телеграмму о случившемся, я тотчас выехала и увидела папу уже в больнице. Больница была плохая, барачного типа, уход — небрежный. Врач меня успокоила, что кровоизлияние рассасывается, но первое впечатление у меня было ужасное. Я заглянула в окно, папа лежал под окном,

его сосед по койке приподнял его, чтобы он меня увидел, но он меня не узнал, лицо у него было какое-то напряженное и совсем не его. В палате впечатление было уже лучше, он был в сознании. Беспокоило, однако, что у него стала подниматься температура и появились пролежни, результат плохого ухода, а через пролежни в организм попала, видимо, какая-то инфекция.

В это время, пользуясь моим приездом, мама собралась на три дня в Ленинград для обмена паспорта, что было совершенно необходимо, чтобы не потерять прописку в Ленинграде. Я осталась одна, каждый день ходила к папе и носила ему еду, которую привезла, но ел он плохо, все ему надоело. Как я в эти дни оценила Александру Петровну, ее действенное участие, о котором писала мама! Мне и в больнице говорили: «**Какая изумительная у вас хозяйка, без вас каждый день к нему приходила**». После того как я пожаловалась, что папе надоели бутерброды, она вдруг мне приносит судок с котлетками из телятины: «**Может, покушает, я себе на Пасху припасла**», — за такое не знаешь, как и благодарить, надо знать, что значила тогда телятина.

Мама пробыла в Ленинграде один день, обратный билет был ей приготовлен. После ее приезда меня осенила мысль взять папу домой, уж очень неприглядно было в больнице. Спросила врача, она вполне одобрила, я думаю, она видела, что дело плохо, так как температура неуклонно поднималась, и хотела снять с себя ответственность. Решили сделать это на следующий день, в день моего отъезда, как-то сразу успокоились на этом, договорились с сестрой, чтобы приходила для ухода, и с врачом, который раньше наблюдал за папой. На радостях даже пошли с мамой вечером в кино. На следующий день взяли папу из больницы, она была близко от дома, так что мы принесли папу на носилках с помощью той же Александры Петровны. Сознание у него к этому времени восстановилось полностью, и он все приговаривал: «**Ну, с Богом, с Богом!**» Так он был доволен, когда мы его уложили дома в постель и уселись вокруг него, он только говорил: «**Вы только не сумасшедствуйте вокруг меня**». Вечером я уехала. Первые письма от мамы были обнадеживающие:

Ночь мы провели благополучно. Папа спал недурно, но жар был. Конечно, с моей неопытностью около такого больного не все идет гладко. Сегодня утром, чтобы пить чай, папа с нашей небольшой помощью сел, спустил ноги. Дала ему чай с молоком, два кусочка булки с маслом и несколько штук печенья с маслом же. На ужин он не захотел ничего, кроме чашки молока и несколько штук печенья. Это он ест с большим удовольствием. Сегодня, хотя я встала в 6 часов, но так набирается много мелкого дела, что чуть не запоздала приготовить обед. Печь ведь не ждет. <...> В 3 часа обещал быть доктор Дунаев, а затем сбегаю к сестре, чтобы первое время приходила оправлять постель и перевязывать. Ранки как будто лучше. Во всяком случае, на плече не промокло до рубашки. Ну дальше, что Бог даст. Хорошо, что он дома. И он так рад. <...> Ал[ександра] П[етровна] по-прежнему верх заботливости. Хотела снести прачке простыни, которые мы сменили, взяла сама постирать, говорит, прачка задержит, а белья надо много. Душа-человек (13.04.33).

Следующее письмо, от 15 апреля, было более тревожным:

У папы была порядочная температура, 38,5. Доктора поразила краснота на плече, опять сделалась до половины спины, многочисленные болячки на теле, вообще, как он сказал, картина ему не ясна. Я, конечно, ужасно упала духом. Я видела, что он чего-то боится, я думаю, заражения крови. <...> Вечером пришла сестра и успокоила меня немного, а вчера была и нашла видимое улучшение. <...> Ночь прошлую спал совсем хорошо, сегодня также крепко заснул после

Л.Б. Твелькейер. Мой отец и его окружение

уборки (часов в 8), но проснулся, конечно, рано и долго, часа два, провел, не засыпая. Это уже много значит. В 8 часов я поила его чаем с молоком, кусочек булки с сыром и 2 печенья с маслом, теперь спит. <...> Сегодня я испекла кулич и ватрушку, было не до Пасхи. Папа с удовольствием узнал о предстоящем угощении.

От 17 апреля письмо было довольно спокойное: «Вчера краснота немного меньше, и самочувствие лучше, ел с большим аппетитом. <...>. Проклятая больница. Если бы только я предполагала, что это такой ужас, надо было рискнуть взять его домой, даже из приемного покоя. Главное, я была одна и плохо все соображала».

А от 19 апреля в письме была просьба ко мне — приехать:

Доктор еще сегодня не был, может быть, он меня и успокоит, но я в большой тревоге. <...> Вчера был опять тяжелый день. Он все охал, жаловался, что болит здоровая рука. Сегодня я только что с ужасом увидела, что она распухла в локте и покраснела. Значит, и в ней рожистое воспаление, как на больной ноге.

Пока мы читали это письмо, пришла телеграмма, что папа скончался 20 апреля. Последний день он был без сознания, несколько раз повторил: «Я умираю. Я умираю», как будто хотел это осознать. Мама сидела около него, пригорюнившись, и вдруг видит, что он смотрит на нее совсем сознательными глазами, но сказал только: «Ася, брось...» Это были его последние слова. Мама спросила доктора, очень ли папа страдал, так как он не стонал, на это врач сказал: «У вашего мужа была очень сильная воля».

Мы с сестрой выехали в тот же день и поспели к похоронам. Папа лежал в гробу у самого окна, и у него было опять его прежнее лицо, совсем спокойное, а не такое напряженное, как во время болезни. За гробом шли мы трое, Александра Петровна и ее родственники, такие же отзывчивые, как она. На следующий день мы уехали обратно, через Двину едва перешли, уже были большие полыньи, река должна была вот-вот тронуться, тогда сообщения с вокзалом не было бы несколько дней. Александра Петровна взяла на себя заботу о могиле, если бы не она, то могила бы не сохранилась, она и ограду, и памятник поставила, я только посылала деньги. Она была очень религиозна и постоянно поминала папу в церкви, а потом и маму. До войны много раз приезжала к нам в Ленинград, постоянно писала. Наконец, в 1965 г. я выбралась в Архангельск и провела с ней несколько дней. Теперь сообщение с Архангельском было совсем удобное, полтора часа самолетом, через Двину был построен железнодорожный мост, так что вокзал был теперь на стороне города, город трудно было узнать, так он застроился. Исчезли почти совсем деревянные домики, которые так нравились папе, был снесен и дом Александры Петровны, а ее переселили, к ее большому горю, в большой городской квартирный дом, со всеми удобствами, в отдельную однокомнатную квартиру, но она очень скучала по своему саду и огороду. Первым делом мы с ней пошли на кладбище, и она так убежденно сказала: «Дождался Борис Львович дочки, вы что думаете, покойники все знают, все видят», что мне тоже показалось, что папа где-то радуется моему приезду. Потом были с ней на телецентре, где память об отце была в большом почете, висел его портрет, там устроили небольшое собрание сотрудников, затем вместе опять поехали на кладбище. Начальник телецентра Кожевин случайно узнал, что папа жил и

похоронен в Архангельске, и положил много труда для увековечения его памяти и сохранности его могилы. Я была очень тронута и даже смущена тем приемом, который был мне оказан. Через четыре года архангельская общественность очень широко отметила столетие со дня рождения отца, я, к сожалению, не могла присутствовать, и представительницей нашей семьи была Александра Петровна, которая была в центре внимания. Она очень гордилась, что у нее жил **«такой знаменитый человек»**. Был еще кое-кто жив из тех, кто знал папу лично: П. П. Покотило, уже очень больной, Замяткин и одна из сотрудниц лаборатории Лесотехнического института, которая вспоминала, с каким вниманием папа относился к молодежи и как он им помогал в работе. В прошлом году умерла Александра Петровна от кровоизлияния в мозг, перед этим долгое время была парализована частично, при ее энергичном и деятельном характере инвалидность ее очень тяготила. Умер и П. П. Покотило, и совсем трагически погиб от рака Кожевин, молодой еще человек.

Мама дожила до 26 января 1941 г., продолжая оставаться центром нашей семьи, до последнего дня своей жизни правила нами и домом, в чем мы давали ей полную свободу. В этом смысле ее жизнь и после смерти папы ни в чем не изменилась, она продолжала быть первым человеком в семье. Она это чувствовала и была нам благодарна. Без ее санкции ничего не предпринималось, наше дело было давать ей деньги, как это делал папа, а уж как их потратить, было ее дело. Она планировала наши хозяйственные дела очень разумно, педантично записывала расходы, нанимала и расставалась с домработницами — все, как при папе. Мама была образованным человеком, в молодости прекрасно училась, знала три языка. Читала она удивительно много и очень быстро, мы не успевали носить ей книги из библиотеки, она любила делать заметки о прочитанном. Она приучила читать и внушек, читала им постоянно вслух по-немецки и по-французски, сперва переводила, а потом они стали понимать много раз прочитанное без перевода. Таким образом они выучивали незаметно язык, эта система обучения была очень оригинальна и эффективна. Последние годы она стала очень религиозна, ходила часто в церковь, прекрасно знала все службы, думается, церковные службы удовлетворяли ее эстетические потребности, особенно музыкальные, и заменяли ей оперу и концерты, которые она перестала посещать. Один раз я уговорила ее пойти на *«Лоэнгрин»* в концертном исполнении в Капелле, и она наслаждалась всей душой.

Страх ее лишиться преследовал меня всю жизнь, я чувствовала себя спокойно, только когда она была рядом, хотя мы часто и спорили, и препирались по пустякам. Кроме всего, она снимала с меня все заботы по дому и по воспитанию дочки.

Большой тоски, чем в ночь ее смерти, я никогда не испытывала. Это случилось в ее любимом Старом Петергофе, в Сергиевке, где она старалась жить возможно дольше, с апреля по октябрь, пользуясь гостеприимством Догелей. Но в этот год ей захотелось провести две недели на свежем воздухе зимой с Инной и Ликой, обжив одну комнату в пустом доме. Часов в 10 вечера позвонила Лика из канцелярии Института: **«У тети Аси удар, отнялась рука и нога»**, — она уже училась в Медицинском институте и кое-что понимала. Ньюшу мама отправила в город, хорошо еще, что к вечеру приехала Лика, и она не была одна с девятилетней Инной. Мы с Ньюшей мигом собрались и поехали в двадцатиградусный мороз в Петергоф в почти пустом уже поезде. Маму я нашла в забытьи на кровати, на которую ее уложила Лика. В этот день она чувствовала себя вполне хорошо и вечером жарила на керосинке котлеты на завтрашний день, когда внезапно потеряла сознание.

Я ее растормошила, она открыла глаза и меня узнала, но не удивилась, увидев меня в столь необычное время. На вопрос, как она себя чувствует, не болит ли у нее голова, сказала: «Ничего у меня не болит, только очень спать хочется» — и опять заснула. Речь была нормальная. Это были ее последние слова. Затем сон становился все глубже, она начала храпеть, чего с ней обычно не было. Лика еще до меня позвонила в скорую помощь, но ей ответили, что при кровоизлиянии они ночью не ездят, и посоветовали положить лед на голову, но резинового пузыря у нас не было. Лика и Нюша легли спать, Инну давно уже уложили, а я сунула ноги в валенки, завернулась в пальто и всю ночь просидела около мамы, держа ее за руку, она мою руку все время слегка пожимала, может быть, бессознательно. Я с тоской думала: что же мы теперь будем делать? Как ее перевозить? Как мне быть с работой? Что это агония, мне не приходило в голову, как вдруг в восемь часов утра лицо ее стало вдруг неподвижным и постепенно побледнело, еще один сильный выдох — и все.

Днем я пошла пройтись по заснеженному парку и все старалась осмыслить, что же произошло, так это казалось невероятным. И все время было желание ей же рассказать о ней самой, посоветоваться, что делать и как лучше, сообщить ей, что тот-то пришел, тот-то предложил то-то. Так мы остались без родителей, но долго не могли привыкнуть к их окончательному отсутствию.

Примечания

¹ Орлов Григорий Григорьевич (1734–1783) — граф (1762), светлейший князь (1772), фаворит императрицы Екатерины II в 1760–1772 гг.

² В издании «Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве» на 1850 г. указаны следующие Розинги: Петр Иванович — глава 3-го отделения Департамента Государственного казначейства; Александр Иванович — председатель Палаты гражданского суда Херсонской губернии; Ардадьон Иванович — прокурор С.-Петербургской губернии; Николай Иванович — советник Казенной палаты Нижегородской губернии и Иван Николаевич — секретарь в той же палате.

³ Матиаш Хуньяди, Корвин (1443–1490) — король Венгрии в 1458–1490 гг.; проводил политику централизации страны и вел успешную войну против Османской империи, угрожавшей независимости Венгерского королевства.

⁴ Гейден Федор (Фридрих) Логгинович фон (1821–1900) — граф, генерал от инфантерии. С 1866 г. — начальник Главного штаба и председатель Военно-ученого комитета. Принимал активное участие в осуществлении военных реформ 1860-х–1870-х гг. В 1870 г. возглавил Комиссию о воинской повинности и Комиссию по разработке «Положения о запасных, местных и резервных войсках и государственном ополчении».

⁵ Пенсия Л. Н. Розинга была довольно велика — 1427 руб. в год — и позволяла ему обеспечивать безбедное существование семьи. См.: Блинов В. И., Урвалов В. А. Б. Л. Розинг. М., 1991. С. 18.

⁶ Ныне ул. Марата.

⁷ Немецкое училище при евангелическо-лютеранской церкви св. Петра — St. Petri Schule (Б. Конюшенная ул., 10). Старейшая школа в С.-Петербурге, первое упоминание о ней относится к 1709 г. В 1762 г. пастор церкви, ученый и педагог А. Ф. Бюшинг, реорганизовал ее в «Школу языков, наук и художеств»: ввел уроки русского, древних и новых языков, естественных наук, математики, географии, рисования, музыки и др. Екатерина II специальным указом в 1764 г. даровала школе свое «особенное покровительство». С 1783 г. школа стала Главным немецким народным училищем. С середины XIX в. в составе училища действовали мужская и женская гимназии, реальное училище и начальная школа.

⁸ Розинг Иллиодор Иванович (1830–1903) — действительный тайный советник, сенатор, член Государственного Совета.

⁹ Речь идет о монументальном произведении (групповом портрете) И. Е. Репина «Торжественное заседание Государственного Совета», исполненном совместно с худ. Б. М. Кустодиевым и И. С. Куликовым в 1901–1903 гг. Ныне картина хранится в Русском музее.

¹⁰ Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — видный юрист и общественный деятель, академик С.-Петербургской Академии наук (1900).

¹¹ Высшие женские (Бестужевские) курсы открыты в С.-Петербурге в 1878 г.; названы по имени их учредителя и руководителя в 1878–1882 гг. профессора русской истории К. Н. Бестужева-Рюмина. В 1886 г. прием на курсы временно прекращен, в 1889 г. возобновлен после пересмотра положения о курсах.

¹² Вера Александровна Сергеева служила учительницей в начальном городском училище и проживала по адресу: ул. Полозова, д. 2. См.: «Весь Петербург» на 1917 г.

¹³ Литейная женская гимназия (Бассейная (Некрасова) ул., 15), основанная Ведомством учреждений императрицы Марии в 1864 г.

¹⁴ Либединский (Лебединский) Владимир Константинович (1868–1937) — ученый-физик, электротехник, профессор (1913), доктор технических наук (1934). Во время учебы на физико-математическом факультете С.-Петербургского университета (окончил в 1891) подружился со своими однокурсниками Б. Л. Розингом и Б. П. Вейнбергом.

¹⁵ Зарудная-Кавос Екатерина Сергеевна (1861–1917) — живописец и график.

¹⁶ Николай Николаевич Старший (1831–1891) — вел. князь, генерал-фельдмаршал, третий сын Николая I.

¹⁷ Первоначально — Николаевский дворец вел. кн. Николая Николаевича Старшего (Благовещенская (Труда) пл., 4). Построен в 1853–1861 гг., архитектор А. И. Штакеншнейдер. В 1894 г. дворец продан в казну и приспособлен под женский институт вел. кн. Ксении Александровны, получив название Ксенииинского. В 1917 г. здание передано Петроградскому совету профсоюзов и стало именоваться Дворцом труда.

¹⁸ Знаменка — усадьба на Петергофской дороге к востоку от дворцово-паркового ансамбля Александрия. В 1850 г. ее владельцем стал вел. кн. Николай Николаевич Старший. При нем началась перестройка дворца (архитектор А. И. Штакеншнейдер); в 1857–1859 гг. дворец полностью перестроен (архитектор Г. А. Боссе).

¹⁹ К. И. Березкин сопровождал вел. кн. Николая Николаевича в двухмесячной поездке в Турцию и Палестину в 1872 г. Эта поездка подробно описана в книге: *Скалон Д. А.* Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите Великого Князя Николая Николаевича в 1872 г. СПб., 1881 (2-е изд.: СПб., 1892).

²⁰ Василеостровская женская гимназия (9-я линия, 6) — одна из первых в С.-Петербурге трех женских гимназий, открытых в 1858 г. Ведомством учреждений императрицы Марии.

²¹ Люстрин (фр. *lustre*) — тонкая темная шерстяная или хлопчатобумажная ткань с блеском.

²² Вид ниток для рукоделия (фр. *Crochet*).

²³ Гарус — шерстяная пряжа для вышивания, вязания или изготовления грубых тканей.

²⁴ Павлов Иван Петрович (1849–1936) — выдающийся русский ученый-физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности, академик (1907). Его жена (с 1881 г.) — Сарра (Серафима) Васильевна (урожденная Корчевская). Мемориальный музей-квартира И. П. Павлова — В. О., 7-я линия, д. 2, кв. 11.

²⁵ Церковь Пресвятой Троицы (Стремянная ул., 21; угол Николаевской (Марата) ул., 5) открыта в 1894 г. вместо деревянного храма. Снесена в 1960-х гг., на этом месте выстроены «Невские бани».

²⁶ Собинов Леонид Витальевич (1872–1934) — выдающийся русский певец, лирический тенор.

²⁷ «Речь» — ежедневная газета либерального направления, издававшаяся в С.-Петербурге в 1906–1917 гг., орган партии кадетов (Народной свободы).

²⁸ «Новое время» — газета, издававшаяся в С.-Петербурге в 1868–1917 гг. С 1876 г., когда ее издателем стал А. С. Суворин, начала выражать проправительственные взгляды.

²⁹ Мадзини Анджело (1844–1926) — итальянский певец, тенор. В 1879–1903 гг. участвовал в спектаклях на сцене Итальянской оперы и других театров С.-Петербурга.

³⁰ Мендельсон-Бартольди Якоб Людвиг Феликс (1809–1847) — немецкий композитор, пианист, органист и дирижер.

³¹ Машалес (Мошелес) Игнац (1794–1870) — немецкий пианист, дирижер, композитор.

³² Берио Шарль-Огюст (1802–1870) — бельгийский скрипач, композитор, педагог. Основатель бельгийской скрипичной школы.

³³ Ныне г. Цесис в Латвии.

³⁴ Массар Жозеф-Ламбер (1811–1892) — французский скрипач, педагог; ученик Р. Крейцера.

³⁵ Ольденбургский Петр Георгиевич (1812–1881) — принц, сын принца Георга Ольденбургского (1787–1812) и вел. кн. Екатерины Павловны (1782–1819), дочери Павла I; крупнейший в России деятель в области благотворительности, учредитель и глава многих учебных, воспитательных, лечебных и благотворительных учреждений. В частности, с 1845 г. был председателем Главного совета женских учебных заведений, с 1850 г. руководил Ведомством учреждений императрицы Марии.

³⁶ Гензелт Адольф Львович (Георг Мартин Адольф) (1814–1889) — немецкий пианист, композитор, педагог. В 1838 г. переехал в С.-Петербург, преподавал в Училище правоведения, в женских институтах — Павловском и Николаевском сиротском и др. учебных заведениях. Редактировал музыкальный журнал «Нувеллист».

³⁷ Николаевский сиротский женский институт (наб. Мойки, 48) — закрытое учебно-воспитательное учреждение для девочек-сирот из беднейших офицерских и дворянских семей, основан в 1837 г. Ведомством учреждений императрицы Марии.

³⁸ Михаил Николаевич (1832–1909) — вел. князь, четвертый сын Николая I, генерал-фельдмаршал. С 1862 г. — наместник на Кавказе и командующий Кавказской армией. Его супруга (с 1857 г.) Ольга Федоровна (1839–1891) — вел. княгиня, принцесса Баденская.

³⁹ Гатчинский сиротский институт основан в 1837 г. для воспитания мальчиков-сирот из сыновей обер-офицеров и гражданских чиновников до IX класса включительно. В 1855 г. институт назван Николаевским в память основателя, императора Николая I; состоял в Ведомстве учреждений императрицы Марии.

⁴⁰ Екатерина Михайловна (1827–1894) — дочь вел. кн. Михаила Павловича (1798–1849). С 1851 г. в браке с герцогом Георгом Мекленбург-Штрелицким (Стрелицким) (1824–1876), служившим в российской армии и занимавшим должность инспектора стрелковых батальонов. Их сыновья: Георг Александр (р. 1859) и Карл Михаил (р. 1863).

⁴¹ Мариинский женский институт (Кирочная ул., 52) основан в 1800 г. императрицей Марией Федоровной.

⁴² Лицей — закрытое среднее и высшее учебное заведение. Основан в 1811 г. в Царском Селе, в 1844 г. переведен в С.-Петербург (Каменноостровский пр., 21) и переименован в Александровский лицей.

⁴³ С.-Петербургское императорское коммерческое училище (Чернышев пер. (ул. Ломоносова), 9) — старейшее коммерческое училище в России — основано в 1772 г. в Москве промышленником П. А. Демидовым и переведено в С.-Петербург в 1800 г. Единственное в столице государственное коммерческое училище, вплоть до ликвидации этого типа учебных заведений в 1918 г.

⁴⁴ Направник Эдуард Францевич (1839–1916) — российский дирижер и композитор; чех по национальности.

⁴⁵ Имеются в виду Женские курсы новых языков и музыки М. А. Лохвицкой-Скалон (Невский пр., 88). В изд. «Весь Петербург» на 1896 г. отдельно упомянуты находившиеся в этом здании «Женские курсы новых языков и живописи М. А. Лохвицкой-Скалон и С.-Петербургская столичная музыкальная школа и музыкально-педагогические курсы В. В. Кюнера».

⁴⁶ Гварнери — семья выдающихся итальянских скрипичных мастеров XVII–XVIII вв.

⁴⁷ Сюита для виолончели (фр.).

⁴⁸ Иогансен — фирма по торговле нотами. С 1879 г. она принадлежала В. А. Хаванову, с 1908 г. — А. К. Тимофееву и Ф. М. Григорьеву; в 1910 г. учрежден торговый дом «А. И. Иогансен».

⁴⁹ Для виолончели и фортепьяно (сокр. фр.).

⁵⁰ Палладин Владимир Иванович (1859–1922) — физиолог растений, академик (1914); ученик К. А. Тимирязева. Профессор Харьковского (с 1889), Варшавского (с 1897) и С.-Петербургского (1901–1914) университетов.

⁵¹ Зернов Дмитрий Степанович (1860–1922) — ученый-физик, технолог. С 1898 г. — директор Харьковского технологического института; в 1902–1904, 1909–1912 и 1921–1922 гг. — ректор С.-Петербургского технологического института.

⁵² Миткевич Владимир Федорович (1872–1951) — ученый-электротехник, академик АН СССР (1929). Преподавал в С.-Петербурге в Электротехническом (1895–1901) и Горном (с 1895) институтах, в С.-Петербургском университете (1901–1902) и на Бестужевских курсах (1896–1901, 1906–1912). См.: Владимир Федорович Миткевич. М.; Л., 1948.

⁵³ Догель Александр Станиславович (1852–1922) — ученый-гистолог, член Петербургской Академии наук (1894). С 1895 г. — профессор С.-Петербургского университета.

⁵⁴ Берггольц (Берхгольц) Ричард Александрович (1865–1920) — художник, член Общества русских акварелистов (1887), действительный член Академии художеств (1912).

⁵⁵ Дубовский (Дубовской) Николай Никифорович (1859–1918) — художник-пейзажист, член «Товарищества передвижных выставок» (1886); дружил с академиком И. П. Павловым.

⁵⁶ Курзал (нем. Kursaal) — помещение клубного типа на курортах.

⁵⁷ Догель Валентин Александрович (1882–1955) — ученый-зоолог, член-корреспондент АН СССР (1939), с 1913 г. возглавлял кафедру зоологии беспозвоночных Ленинградского (Петроградского) университета; сын А. С. Догеля.

⁵⁸ Ру Цезарь (1857–1934) — швейцарский врач, с 1890 г. — профессор хирургии в Лозанне.

⁵⁹ В замужестве Березкина Зинаида Дмитриевна (1864–1898), дочь общественного и музыкального деятеля Д. В. Стасова (1828–1918), внучка известного архитектора В. П. Стасова (1769–1848), племянница В. В. Стасова (1824–1906), художественного критика и историка искусства.

⁶⁰ Стасова Елена Дмитриевна (1873–1966) — сестра Зинаиды Дмитриевны; советский партийный и политический деятель. В 1917–1920 гг. — секретарь (и в 1918–1920 гг. — член) ЦК РСДРП(б)–РКП(б), в 1921–1926 гг. — работник аппарата Коминтерна, в 1927–1937 гг. — председатель ЦК МОПР.

⁶¹ Кавос Альберт Катаринович (1800–1863) — российский архитектор итальянского происхождения.

⁶² Образован в 1918 г. на основе Женского политехнического института, организованного в 1915 г. из Женских политехнических курсов, существовавших с 1906 г. (см. примеч. 82).

⁶³ Вероятно, гувернантка.

⁶⁴ Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867–1951) — барон шведского происхождения, российский военный (с 1917 г. генерал-лейтенант), затем крупный финляндский государственный и военный деятель (до 1946 г.).

⁶⁵ Домовладельцу С. А. Тупикову принадлежало несколько домов на Большом пр. В. О., Сергиевской ул., площади у Спасо-Преображенского собора. См. «Весь Петербург» на... 1910, 1914 гг.

⁶⁶ Riviinge (de diamants) (фр.) — бриллиантовое ожерелье.

⁶⁷ Ваганова Агриппина Яковлевна (1879–1951) — солистка балета Мариинского театра, педагог; с 1921 г. преподавала в Ленинградском (Петроградском) хореографическом училище, которому в 1957 г. присвоено ее имя.

⁶⁸ Романова (в замужестве Уланова) Мария Федоровна (1886–1954) — артистка балета Мариинского театра, педагог; мать выдающейся балерины Галины Улановой.

⁶⁹ Снеткова (Вечеслова) Евгения Петровна (1882–1961) — артистка балета Мариинского театра, педагог.

⁷⁰ Институт инженеров путей сообщения (учрежден в 1809 г.), в годы советской власти переименован в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

⁷¹ Андреев Павел Захарович (1874–1950) — певец (бас-баритон), нар. арт. СССР (1939); в 1909–1948 гг. выступал в Мариинском театре; с 1926 г. — профессор Ленинградской консерватории.

⁷² Кюннер Николай Васильевич (1877–1955) — ученый-востоковед, историк, географ и этнограф; с 1925 г. — профессор Ленинградского государственного университета.

⁷³ По данным справочника «*Весь Петербург*» на 1910 г., Борис Васильевич Кюннер служил в 1-м департаменте Министерства юстиции и проживал по адресу: Гончарная ул., 15.

⁷⁴ На Петербургской стороне было три Церковных улицы: 1) от Кронверкского до Большого пр. — ныне ул. Блохина, 2) от ул. Грота (Проф. Попова) до Аптекарского пр. — ныне Инструментальная ул., 3) от Ждановской ул. до Б. Спасской (Красного Курсанта) ул. — ныне Новолодожская ул.

⁷⁵ Ныне ул. Достоевского.

⁷⁶ Технологический (практический) институт был основан в 1828 г. с целью «**приготовить людей, имеющих теоретические и практические познания для управления фабриками или отдельными частями оных...**». Принимал детей купцов 3-й гильдии, мещан, ремесленников. В 1862–1868 гг. преобразован в высшее специальное учебное заведение. С 1904 г. выпускники института стали получать звание инженера-технолога с правом поступления на государственную службу; в 1906 г. его отделения были преобразованы в факультеты: химический и механический. За время работы Б. Л. Розинга в институте должность его директора занимали: Харлампий Сергеевич Головин (1891–1902), Дмитрий Степанович Зернов (1902–1904, 1909–1912), Александр Александрович Воронов (1904–1909), Григорий Филиппович Депп (1912–1915), Лев Петрович Шишко (1915–1917). См.: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет). 1828–1998. СПб., 1998.

⁷⁷ Константиновское артиллерийское училище было преобразовано в 1894 г. из Константиновского военного училища, реорганизованного в 1859 г. из Константиновского кадетского корпуса, сформированного, в свою очередь, в 1855 г. на основе «Дворянского полка» — среднего привилегированного учебного заведения, существовавшего с 1808 г. при 2-м Кадетском корпусе. Оно имело трехлетний срок обучения и принимало преимущественно выпускников кадетских корпусов с отличными оценками по точным наукам. Окончившие полный курс училища получали чин подпоручика.

⁷⁸ Женские политехнические курсы, первое в России женское высшее техническое учебное заведение, открыты в 1906 г. «*Обществом изыскания средств для технического образования женщин*». Слушательницы в течение первых двух лет занимались по единой программе, а затем — на одном из четырех отделений: архитектурном, инженерно-строительном, электромеханическом, химическом. Первым ректором курсов стал профессор Технологического института Н. Л. Щукин; к преподаванию были привлечены многие известные педагоги и ученые: Л. Н. Бенуа, В. И. Курдюмов, С. Д. Карейша, В. Ф. Миткевич, М. А. Шателен и др. Б. Л. Розинг вел занятия по электрическим и магнитным измерениям, с 1908 г. руководил электромеханическим отделением (факультетом). С 1912 г. лучшие ученицы стали получать права инженера, с 1914 г. — инженера путей сообщения. В 1915 г. курсы преобразованы в Петроградский женский политехнический институт с зачислением на государственную дотацию. Срок обучения составлял 5, затем 7 лет. До начала 1920-х гг. институт (курсы) располагались на Загородном пр., д. 62/2.

⁷⁹ С.-Петербургская 1-я мужская гимназия находилась на Звенигородской ул., д. 27.

⁸⁰ Ныне Социалистическая ул.

⁸¹ Платонов Сергей Федорович (1860–1933) — ученый-историк, академик РАН (1920). Преподавал в С.-Петербургском университете, Александровском лицее, на Бестужевских курсах. В 1900–1905 гг. был деканом историко-филологического факультета университета, в 1903 г. возглавил вновь созданный Женский педагогический институт. В 1918–1929 гг. руководил Археографической комиссией, с 1928 г. был одновременно директором Пушкинского Дома и Библиотеки Академии наук. В январе 1930 г. арестован по обвинению в «активной антисоветской деятельности», сделан главной фигурой в сфабрикованном ГПУ «деле Академии наук», провел около года в тюрьме, приговорен коллегией ОГПУ к ссылке на 5 лет и сослан в Самару, где вскоре умер.

⁸² Коялович Борис Михайлович (1867– после 1928) — ученый-математик. С 1892 г. читал лекции в Технологическом институте, в 1892–1916 гг. — профессор Бестужевских курсов, в 1912–1921 гг. — Женского педагогического института, с 1920 г. — Петроградского университета, с 1924 г. — старший метролог Главной палаты мер и весов. В 1910-х гг. проживал по адресу: Кабинетская ул., 9.

⁸³ Первый электрический трамвай был пущен в С.-Петербурге в сентябре 1907 г. Его маршрут пролегал от Александровского сада по Конногвардейскому бульвару, через Николаевский (Лейтенанта Шмидта, ныне Благovesщенский) мост к Кронштадтской пристани. Садовая трамвайная линия была открыта в 1908 г.

⁸⁴ Имеется в виду Невская линия городской железной дороги от Знаменской пл. до дер. Мурзинка. Об этом виде транспорта упоминает А. Ахматова в стихотворении «*Петербург в 1913 г.*»: Паровик идет по Скорбящей / И гудочек его щемящий / Откликается над Невой.

⁸⁵ Ресторан находился не на углу Конюшенной ул., а на углу наб. р. Мойки, в здании, в котором в первой половине XIX в. размещалась знаменитая кондитерская С. Вольфа и Т. Беранже. С 1883 г. его владелицей была подданная Саксонии Вильгельмина Карловна Лейнер, с 1908 г. — «*Товарищество официантов — Лейнер*» в составе: И. С. Сергеева, В. П. Петрова и А. Г. Павлова. Ресторан часто посещали П. И. Чайковский, Ф. И. Шаляпин, А. А. Блок.

⁸⁶ «Капитан» (фр.).

⁸⁷ Далее в мемуарах названы имя и отчество Нелидова — Дмитрий Дмитриевич. Сведений о генерале не обнаружено. Известен капитан 2-го ранга Д. Д. Нелидов, служивший на Балтийском флоте. Он участвовал в Первой мировой войне, затем, в апреле 1918 г., возглавил Чудскую озерную флотилию и в октябре того же года передал часть ее кораблей белогвардейской Северной армии. Впоследствии находился в эмиграции.

⁸⁸ Бубнов Михаил Владимирович (1859– ?) — вице-адмирал; участник Русско-японской войны, за оборону Порт-Артура был награжден золотым оружием. С 1911 г. — помощник морского министра.

⁸⁹ Рейценштейн Николай Карлович (1854–1916) — адмирал (1913). Во время Русско-японской войны командовал отрядом крейсеров, прославился организацией смелого рейда к берегам Японии. В 1907–1909 гг. — командир Учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота, с 1909 г. — член Адмиралтейств-совета, с 1912 г. — председатель Комитета по организации береговой обороны.

⁹⁰ Беклин Арнольд (1827–1901) — швейцарский художник. Создавал в своих произведениях вымышленный романтически-символический мир. В картине «Остров мертвых» (1880) он добился особого эффекта за счет сочетания надуманно символической композиции с натуралистически достоверными деталями.

⁹¹ Щукин Николай Леонидович (1848–1924) — инженер-паровозостроитель, изобретатель, основатель трубопроводного транспорта в России. С 1889 г. — профессор кафедры прикладной механики Технологического института, с 1905 г. — ректор Женских политехнических курсов. В 1902–1910 гг. состоял членом инженерного совета Министерства путей сообщения, был товарищем министра; одновременно (в 1908–1910) возглавлял Отдел технических и профессиональных учебных заведений Министерства народного просвещения.

В годы советской власти возглавил первый состав Высшего технического совета Наркомата путей сообщения.

⁹² Имеется в виду конный памятник императору Александру III на Знаменской площади перед Московским вокзалом работы скульптора П. П. Трубецкого (1866–1938), открытый в 1909 г.

⁹³ Ландо (фр. landau) — четырехместная карета с открывающимся верхом.

⁹⁴ Решетка для вьющихся растений.

⁹⁵ Разновидность древесины характерного рисунка.

⁹⁶ С.-Петербургское общество попечения о глухонемых, основанное в 1888 г. по инициативе Ф. А. Бухмейера; главная задача общества — призрение бедных глухонемых детей.

⁹⁷ Кретон (фр. cretonne) — плотная, жесткая хлопчатобумажная ткань для обивки мебели или для драпировок.

⁹⁸ Роман Жюль Верна.

⁹⁹ «Семейные вечера» — детский журнал с картинками; основан в 1864 г. в С.-Петербурге М. Ф. Ростовской и В. Н. Майковым.

¹⁰⁰ «Родник» — иллюстрированный журнал для детей, выходивший в С.-Петербурге; преобразован в 1882 г. из журнала «Воспитание и обучение». В журнале сотрудничали писатели В. И. Авенариус, К. С. Баранцевич, Н. П. Вагнер (Кот-Мурлыка), Вс. Гаршин и др.

¹⁰¹ Чарская (наст. фамилия Чурилова) Лидия Алексеевна (1875–1937) — писательница, автор sentimentальных романов. Окончила Павловский женский институт в С.-Петербурге (1893), затем училась на Драматических курсах Императорского театрального училища. В 1898–1924 гг. выступала на сцене Александринского театра, одновременно занимаясь литературной деятельностью. Особой популярностью пользовались ее повести и романы для детей о жизни воспитанниц женских институтов: «Записки институтки» (1902), «Княжна Джаваха» (1903), «Люда Власовская» (1904).

¹⁰² «Светлячок» — двухнедельный журнал для детей младшего возраста; выходил в С.-Петербурге с 1902 г.; издательница — М. Лидерт.

¹⁰³ «Задуманное слово» — детский журнал, основан в 1877 г. в С.-Петербурге издателем М. О. Вольфом.

¹⁰⁴ Желиховская (урожд. Ган) Вера Петровна (1835–1896) — писательница — прозаик и драматург. Сестра Е. П. Блаватской, двоюродная сестра С. Ю. Витте. Получила домашнее образование. В 1858–1880 гг. жила в Тифлисе, где ее муж служил директором гимназии. В 1870-е гг. начала писать короткие рассказы для детей, которые печатались в журнале «Семья и школа». После смерти мужа переехала в Одессу, затем в С.-Петербург, где всецело занялась литературной деятельностью. Сотрудничала в детских журналах («Игрушечка», «Родник», «Детское чтение») и в журналах для семейного чтения («Нива», «Природа и люди», «Живописное обозрение» и др.). Наибольшую известность ей принесли автобиографические повести для детей «Как я была маленькой» (1891) и «Мое отрочество» (1893), произведения, рисующие экзотический быт народов Кавказа, и «взрослые» романы из жизни светского общества. Критика отмечала, что от произведений Желиховской «веет неподдельными и здоровыми чувствами, <...> у нее вкусы доброго, старого времени» (Русское обозрение. 1896. № 8. С. 611).

¹⁰⁵ Лукашевич-Хмызникова (урожд. Мирец-Имшенецкая) Клавдия Владимировна (1859–1931) — детская писательница, педагог. Из семьи обедневшего украинского помещика. Обучалась в Марининской гимназии в С.-Петербурге (1771–1879). В 1880-е гг. начала сотрудничать в журнале «Семейные вечера», писала рассказы и повести для детей. В 1885 г. переехала в Иркутск, куда ее муж был назначен инспектором женского института. После смерти мужа (1890) вернулась в Петербург, где активно продолжила литературную деятельность (только издательство Сытина выпустило более 20 ее книг). В годы советской власти, по приглашению А. В. Луначарского, работала в издательстве «Детская литература»; в 1923 г. исключена из Союза писателей.

¹⁰⁶ Лухманова (урожд. Байкова) Надежда Алексеевна (1844–1907) — писатель-прозаик, драматург и переводчица. Из дворян Псковской губернии. Обучалась в С.-Петербурге в Павловском женском институте (1853–1861). В 1870 г. уехала в Москву, где начала литературную деятельность; среди прочего писала рассказы для детей. Сотрудничала в ряде газет и журналов. Особую популярность приобрели ее автобиографические романы о детстве и юности: *«Девочки. Воспоминания из институтской жизни»* (1896), *«Институтка»* (1904) и дамские романы.

¹⁰⁷ Олькотт (Олкотт) Луиза (1832–1888) — американская писательница. Получила известность как автор сентиментальных и нравоучительных романов для юношества.

¹⁰⁸ *«Приключения Найджела»* (*«The Fortunes of Nigel»*) — роман Вальтера Скотта, посвященный быту лондонского общества в 1620-е гг. В Англии опубликован в 1822 г., первый русский перевод вышел в 1829 г.

¹⁰⁹ Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920) — историк русской литературы, библиограф. В 1897–1899 гг. и с 1906 г. преподавал в С.-Петербургском университете, в 1910–1918 гг. — профессор Бестужевских курсов, с 1910 г. — Психоневрологического института. С 1887 г. работал в Обществе любителей русской словесности, в 1916–1917 гг. был председателем Литературного фонда, в 1917 г. возглавил Российскую книжную палату. В 1893–1901 гг. редактировал и комментировал издания серии *«Библиотека великих русских писателей»*, включившей и сочинения А. С. Пушкина. (См.: *Калентьева А. Г. Влюбленный в литературу: Очерк жизни и деятельности С. А. Венгерова*. М., 1964).

¹¹⁰ Авенариус Василий (Вильгельм) Петрович (1839–1923) — писатель-прозаик. В 1870-е гг. начал писать для детей, сотрудничал в журналах *«Задуманное слово»* и *«Родник»*. Большинство его произведений в занимательной форме знакомит юных читателей с географией, историей, промышленностью России. Его книги рекомендовались для прочтения в учебных заведениях. Повесть *«Отроческие годы Пушкина»* впервые опубликована в 1885 г. в журнале *«Родник»*, в 1888 г. вышла отдельным изданием; *«Юношеские годы Пушкина»* — в 1887 г. в том же журнале.

¹¹¹ Трилогия Д. С. Мережковского *«Христос и Антихрист»* включает романы: *«Смерть богов (Юлиан Отступник)»*, *«Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)»* и *«Антихрист (Петр и Алексей)»*. Роман о Леонардо выходил отдельным изданием в 1901, 1902 и 1906 гг., затем вошел в собрание сочинений Д. С. Мережковского (1911).

¹¹² В аттестате, полученном Б. Л. Розингом по окончании гимназии, особо отмечалась его *«любопытность в редкой степени ко всем предметам гимназического курса, в особенности древним языкам и математике»* (*Блинов В. И., Урвалов В. А.* Б. Л. Розинг. С. 18).

¹¹³ Мандзони Алессандро (1785–1873) — итальянский писатель-романтик. Его роман *«Обрученные»* посвящен борьбе жителей Ломбардии в XVII в. против испанского господства, он проникнут духом патриотизма и сочувствия к страданиям народа.

¹¹⁴ Воропонаев Глеб Федорович (1867–?) — живописец. Учился в Академии художеств у А. И. Куинджи (1888). Работал в С.-Петербурге, писал преимущественно портреты и пейзажи. По данным издания *«Весь Петербург»* на 1905 г., преподавал рисование в Торговой школе им. Николая II, проживал по адресу: Шпалерная ул., 50.

¹¹⁵ Игнатовский Владимир Сергеевич (1875–1942) — физик, чл.-корр. АН СССР (1932). Основные труды по теории оптических приборов, электродинамике. Учился в Германии, занимался научной и практической работой в фирме К. Цейса, преподавал в Берлинском политехническом институте. С 1917 г. — руководитель научной части Государственного оптико-механического завода (ГОМЗ). Арестован в январе 1942 г. в блокадном Ленинграде, возможно по делу *«Союза старой русской интеллигенции»*, и расстрелян вместе с женой; реабилитирован в 1955 г.

¹¹⁶ Вейнберг Борис Петрович (1871–1942) — физик, инженер-гелиотехник. Преподавал в Новороссийском (1899–1901, 1903–1906) и С.-Петербургском (1906–1909) университетах, на Бестужевских курсах (1901–1903, 1906–1908). С 1909 г. — профессор Томского техноло-

гического института, с 1910 г. — Томского университета. В 1924–1925 гг. — директор Главной геофизической обсерватории в Ленинграде, с 1940 г. — руководитель Отдела теоретических исследований НИИ земного магнетизма. Умер от голода во время блокады Ленинграда. Сын поэта и историка литературы, профессора, академика С.-Петербургской Академии наук Петра Исаевича Вейнберга (1831–1908).

¹¹⁷ Терешин Сергей Яковлевич (?–1921). В 1893–1900 гг. преподавал физику в С.-Петербургском технологическом институте, затем вел практические занятия в Институте инженеров путей сообщения, в 1894–1918 гг. читал лекции на Бестужевских курсах. Защитил магистерскую диссертацию «*К вопросу о зависимости лучеиспускания от температур*».

¹¹⁸ Кулинарные курсы Гунст официально именовались: «*Начальная первая практическая школа поварского искусства и домоводства*» и располагались по адресу: Зимин пер., 4. Их основатель, Вера Ивановна Гунст, владела также кухмистерской (В. О., 12-я линия, д. 23).

¹¹⁹ Гвардейское экономическое общество начало коммерческую деятельность в 1882 г. Цель общества: «*доставлять своим членам продукты потребления, а главным образом предметы обмундирования, снаряжения, обувь и белье вполне хорошего качества, по самым низким торговым ценам*». Членами общества являлись офицеры Гвардейского корпуса, в нем также могли состоять все остальные офицеры, военные врачи и военное духовенство. В 1908–1909, 1912–1913 гг. построен Торговый дом общества (Б. Конюшенная ул., 21–23). В годы советской власти преемником общества стало Ленинградское окружное военно-потребительское общество; позднее в здании торгового дома общества на Б. Конюшенной улице был открыт универсам ДЛТ.

¹²⁰ Торговая фирма «*Василия Перлова с сыновьями товарищество чайной торговли*» во второй половине XIX в. владела в С.-Петербурге целой сетью магазинов: Невский пр., 10 и 90; Офицерская ул., 7; 12-я линия В. О., 48; Садовая ул., 22 и 46, и др. С 1891 г. фирма принадлежала Сергею Васильевичу Перлову. Названный магазин находился в д. 19 по Разъезжей ул.

¹²¹ Филиппов — известный предприниматель, торговавший хлебными изделиями. Особенно славились его жареные пирожки, о которых вспоминают многие мемуаристы.

¹²² Ныне ул. Рубинштейна.

¹²³ По данным изд. «*Весь Петербург*» на 1900 г., на Пушкинской ул. располагались две колбасные лавки: в д. 3 — Вильгельма Отговича Шульца и в д. 7/9 — Вячеслава Савельевича Мусницкого; по данным на 1905 г., первая из них принадлежала Василию Михайловичу Тележкину, вторая — Антону Иосифовичу Равинскому.

¹²⁴ Кондитерская «*С. И. Иванов*» находилась на Театральной пл., д. 16; в 1900–1914 гг. ее владельцем был Сергей Иванович Шахназаров.

¹²⁵ В изд. «*Весь Петербург*» на 1900, 1905 и 1914 гг. кондитерская Абрамова не значится; Д. А. Абрамов владел несколькими булочными, которые среди прочего торговали и сдобой, но ни одна из них не располагалась на Литейном пр. На Литейном пр., 43 находилась кондитерская Л. К. Астафьева.

¹²⁶ «*Фабрично-торговое товарищество Абрикосова и сыновей*», учрежденное в 1883 г. на основе семейной фирмы, существовавшей с 1804 г., владело широкой сетью магазинов в С.-Петербурге, Москве, Киеве и других городах России. Только в 1913 г. товарищество произвело 53 тыс. пудов конфет и шоколада, 4,5 тыс. пудов варений.

¹²⁷ Дороговизна квартир в начале XX в. была одной из самых больших проблем для жителей С.-Петербурга. По данным К. Н. Пажитнова, приведенным в книге «*Петербург и его жизнь*» (СПб., 1914), в 1900 г. квартира от 6 до 10 комнат стоила в среднем 1109 р. в год (92 р. в месяц). Следовательно, размер оплаты квартиры Розингами был типичен для того времени. «*Как это ни странно, — отмечал Пажитнов, — квартира в крупных городах России значительно дороже, чем в Западной Европе*» (С. 57).

¹²⁸ Гимназия Марии Николаевны Стоюниной (1847–1940) — одна из первых трех частных женских гимназий, открытых в С.-Петербурге. Основана в 1881 г., сначала располага-

лась на Сергиевской ул., д. 24, в 1882 г. переехала на Фурштатскую улицу, в 1900 г. — на Владимирскую площадь и в 1904 г. — на Кабинетскую ул., д. 20. Гимназия, вплоть до упразднения осенью 1918 г., считалась лучшей из женских средних учебных заведений города, в ней практиковались прогрессивные педагогические методы; учебные программы были максимально приближены к программам мужских гимназий. В начальный период ее существования в ней преподавали выдающиеся русские педагоги: В. Я. Стоюнин (муж основательницы гимназии) и П. Ф. Лесгафт.

¹²⁹ Книжке Герман Германович (р. 1853) — известный в С.-Петербурге торговец перчатками. В 1877 г. открыл мастерскую на Литейном пр., д. 38. К концу XIX в. владел двумя магазинами на Невском пр., д. 13/9 и 63.

¹³⁰ Бехли Самуэль Самуэлевич, подданный Швейцарии. В 1881 г. основал мастерскую по изготовлению альбомов; с 1886 г. наладил производство чемоданов, сумок и других кожаных изделий. В 1897 г. открыл магазин в здании Голландской церкви (Невский пр., 20). В начале XX в. стал учредителем «Первой российской альбомной фирмы С. Бехли», владевшей собственной фабрикой на Б. Болотной ул.

¹³¹ Магазин Петона, «Г. Пето» (Караванная ул., 16), в начале XX в. торговал канцелярскими товарами и принадлежал Генриетте Александровне Пето.

¹³² Дациаро — торговцы художественными изделиями и картинами, содержавшие с 1866 г. магазин на Невском пр., д. 1. В 1893 г. дело унаследовал Александр Дациаро (р. 1847). В 1910 г., в связи с перестройкой дома для Петербургского частного коммерческого банка, магазин был закрыт.

¹³³ Книжный магазин «А. Излер» (Невский пр., 20).

¹³⁴ «М. О. Вольф» — известная издательская и книготорговая фирма, основанная в 1853 г. и в 1882 г. преобразованная в промышленное и торговое товарищество. К концу XIX в. наряду с издательствами А. С. Суворина и А. Ф. Маркса товарищество стало одним из крупнейших в России предприятий в этой области. В 1883–1917 гг. им было выпущено около 3000 названий книг. Славилась его дорогие, богато иллюстрированные издания и книжные серии: «Золотая библиотека», «Зеленая библиотека», «Розовая библиотека», «Нравственные романы для юношества» и др. Фирма издавала журналы: «Новый мир», «Живописная Россия», «Вокруг света». В начале XX в. главный магазин Товарищества «М. О. Вольф» размещался в Большом Гостином дворе на Суконной линии.

¹³⁵ По-видимому, яйцевидной формы (от лат. ovum — яйцо, в род. падеже — ovo).

¹³⁶ Мозжухин Иван Ильич (1889–1939) и Холодная Вера Васильевна (1893–1919) — выдающиеся русские актеры немого кино.

¹³⁷ Кинематограф «Мулен Руж» находился на Невском пр., д. 51.

¹³⁸ В 1897 г. Б. Л. Розинг начал заведовать физическим кабинетом Константиновского артиллерийского училища.

¹³⁹ Экспериментальный образец своего «электрического телескопа» Б. Л. Розинг создал в конце 1908 г. в лаборатории Технологического института. Последующие два года ушли на поиск способа уменьшения потерь при передаче слабых токов от фотоэлемента к приемнику. 9 мая 1911 г. в его записной книжке появилась запись: «В первый раз было видно отчетливое изображение четырех параллельных светлых линий». Профессор Технологического института Н. А. Маренин вспоминал о первых опытах с аппаратом Розинга: «Это была довольно примитивная установка с проволочной связью между передатчиком и приемником, причем для передачи сигнала требовалось шесть проводов, число строк развертки было всего 12, и изображение можно было передать весьма простое, например, решетку или пальцы раскрытой руки. Но это было уже живое движущееся изображение. <...> Помню, с каким волнением мы, помогавшие Борису Львовичу в его опытах, следили за этими примитивными изображениями, переданными по проводам с помощью электронного луча, невесомого и безынерционного, послушно рисовавшего на экране». (Блинов В. И., Урвалов В. А. Б. Л. Розинг. С. 39).

¹⁴⁰ Курбатов Владимир Яковлевич (1878–1957) — ученый-химик, историк архитектуры, краевед; был одним из основателей Музея истории города (1918), общества «Старый Пе-

тербург» (1921); преподавал в Российском институте истории искусств (1920–1930). Написал ряд книг по истории города и его пригородов, в том числе *«Петербург»* (СПб., 1913).

¹⁴¹ Английский клуб, старейший в С.-Петербурге, во времена А. С. Пушкина размещался сначала в доме купца Таля на Мойке, а затем, с 1829 по 1859 г., во флигеле дома Демидовых, также на Мойке. Пушкин стал членом клуба в 1832 г. Во второй половине XIX в. клуб переехал в дом Д. Е. Бенардаки (Невский пр., 86). См.: Столетие С.-Петербургского Английского собрания. СПб., 1870.

¹⁴² Тенишевское училище (Моховая ул., 33–35) — среднее учебное заведение с коммерческим курсом, основанное в 1898 г. этнографом и социологом кн. В. Н. Тенишевым. Зал училища в начале XX в. был одним из культурных и общественных центров столицы. В нем устраивались концерты, спектакли и лекции, проводились собрания и съезды. В 1922–1962 гг. в этом помещении находился Театр юных зрителей. Ныне (с 1962 г.) в здании училища располагается учебный театр С.-Петербургской государственной академии театрального искусства.

¹⁴³ *«Мир искусства»* — художественное объединение, созданное в С.-Петербурге в 1898 г. А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым. Основное ядро объединения составили: Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Лебедева, К. А. Сомов. Существовало до 1904 г., затем — в широком составе — в 1910–1924 гг.

¹⁴⁴ Русский музей (до 1917 г. — Имп. Александра III) учрежден в 1895 г., открыт в 1898 г. в Михайловском дворце в С.-Петербурге.

¹⁴⁵ Гезехус (Gesehuss) Николай Александрович (1845–1918) — ученый-физик. В разное время преподавал физику в Технологическом институте, Военно-инженерном и Военно-топографическом училищах, на Бестужевских курсах, в С.-Петербургском и Томском университетах.

¹⁴⁶ *«Гейша»* (*«The Geisha»*) — оперетта английского композитора Сидни Джонса (1861–1946).

¹⁴⁷ В Келомяги (Коломягах) находился Комендантский аэродром, на котором в начале XX в. проходили авиационные недели, привлекавшие множество публики. Там же размещались авиационные мастерские, в том числе мастерская, построенная в 1909 г. изобретателем, преподавателем Электротехнического института Я. М. Гаккелем — сотрудником В. Ф. Миткевича, друга семьи Розингов, с которым он совместно разрабатывал аккумуляторы для отечественных подводных лодок.

¹⁴⁸ Синель (англ. chenille) — мохнатый шнурок, скрученный из ворсистых шелковых и хлопчатобумажных нитей.

¹⁴⁹ Речь идет о подворье Александро-Свирского Свято-Троицкого монастыря Олонецкой епархии в С.-Петербурге (Разъезжая ул., 25; угол Боровой ул., 1).

¹⁵⁰ О финских вейках вспоминали многие мемуаристы. Например, Д. А. Засосов и В. И. Пызин в книге *«Из жизни Петербурга 1890-х — 1910-х гг. Записки очевидцев»* (Л., 1991. С. 43) пишут: «На масленице появлялся еще один вид транспорта — вейки. В город на это время приезжали крестьяне на своих лошадях, в легких саночках. Это были большею частью представители финских племен: корелы, ингерманландцы, ижоры, которые в просторечии назывались чухнами. Лошадей они украшали красочной сбруей, бубенцами и ленточками. Дугу и оглобли также украшали».

¹⁵¹ Давыдов Владимир Николаевич (наст. имя Горелов Иван Николаевич) (1849–1925), Варламов Константин Александрович (1848–1915), Стрельская Варвара Васильевна (1838–1915), Далматов (наст. имя Лучич Василий Пантелеймонович) — драматические актеры, известные талантливым исполнением комических ролей в спектаклях классического репертуара Александринского театра.

¹⁵² Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948) — выдающийся актер (с 1893), а затем руководитель (1922–1928) Александринского театра.

¹⁵³ Первые семь классов женских гимназий были общеобразовательными, а восьмой — педагогическим, предназначенным для подготовки к преподавательской деятельности в школе.

¹⁵⁴ Женский педагогический институт Ведомства учреждений императрицы Марии — высшее учебное заведение, основанное в 1903 г.

¹⁵⁵ Цукерня (польск. cukernia) — кафе-кондитерская.

¹⁵⁶ Пиотровский Адриан Иванович (1898–1937) — театровед, киновед, литературовед; заслуженный деятель искусств РСФСР (1935). Родился в г. Вильно. Окончил классическое отделение Петроградского университета (1923). В 1918 г. начал литературную, в 1919 г. — театральную деятельность. Был заведующим театральным отделом (ТЕО) Петроградского губполитпросвета. Один из организаторов массовых театрализованных уличных зрелищ в 1919–1920 гг. и агиттеатров, заведующий литературной частью Большого драматического театра, Ленинградского ТРАМа, Малого оперного театра и др. Автор театральных пьес, киносценариев, теоретических и критических статей о кино. В 1928–1937 гг. был художественным руководителем Ленинградской фабрики «Совкино» (позднее студия «Ленфильм»). Знарок античной литературы, автор поэтических переводов (Аристофана, Эсхила и др.) и исследований по истории античного театра. Арестован в июле 1937 г. по политическому обвинению (ст. 58 УК РСФСР) и в ноябре того же года расстрелян. Об Институте истории искусств см. примеч. 178. Пиотровский никогда не был директором института, с 1924 г. он занимал должность директора Высших государственных курсов искусствоведения при Институте истории искусств, которые находились в одном здании с институтом, и одновременно заведовал их театральным отделением. (См.: Адриан Пиотровский. Л., 1969).

¹⁵⁷ Зелинский Фаддей Францевич (Тадеуш Стефан) (1859–1944) — филолог, поэт-переводчик, интерпретатор античной культуры. В 1887–1922 гг. — профессор С.-Петербургского университета. В 1922 г. эмигрировал в Польшу, где занимал кафедру классической филологии Варшавского университета до начала Второй мировой войны.

¹⁵⁸ Измайлов Николай Васильевич — литературовед. С 1920 г. — научный сотрудник Пушкинского Дома; с 1957 г. — заведующий Рукописным отделом ИРЛИ. В 1937–1959 гг. участвовал в подготовке академического издания произведений А. С. Пушкина.

¹⁵⁹ Речь идет о весьма популярном в городе 8-классном Выборгском коммерческом училище (Финский пер., 5), открытом Л. П. Трейфельдт осенью 1905 г.; в 1910-х гг. оно принадлежало А. К. Трейфельдт. Руководил училищем талантливый педагог Петр Андреевич Герман. Как и другие коммерческие училища, оно находилось в ведении Министерства торговли и промышленности, а не Министерства народного просвещения, что позволило Герману вводить прогрессивные методы обучения, составлять учебные планы и программы вне надзора чиновников С.-Петербургского учебного округа.

¹⁶⁰ Фирма «В. И. Черепенников и С-ья» владела в С.-Петербурге широкой сетью ренсковых (винных) погребов и фруктовых лавок. Ее основал Василий Иванович Черепенников. В 1908 г. она была преобразована в Торговый дом с капиталом 60 тыс. рублей. После смерти основателя фирму возглавил в 1909 г. его старший сын Иван, который имел двух дочерей — Александру и Елену, в управлении участвовал также младший сын Андрей, у которого была дочь Татьяна.

¹⁶¹ Инспектрисой женского отделения Училища св. Петра, по данным на 1910 и 1913 гг., была Юлия Георгиевна Шмидт.

¹⁶² Вульфийус (Wulfius) Александр Германович (1880–?) — историк, педагог. С 1902 г. преподавал всеобщую историю в Училище при евангелическо-лютеранской церкви св. Екатерины, с 1903 г. — в Училище св. Петра, с 1906 г. — в женской гимназии Л. С. Таганцевой. В 1910-х гг. состоял профессором Женского педагогического института, в 1907–1916 гг. — Бестужевских курсов.

¹⁶³ Гимназия Э. П. Шаффе (В. О., 5-я линия, 16/17) — четвертая по времени открытия (1882) частная женская гимназия в С.-Петербурге.

¹⁶⁴ Частная женская гимназия Л. С. Таганцевой (Моховая ул., 27) была основана в 1885 г.

¹⁶⁵ О Petri Schule см. примеч. 7.

¹⁶⁶ О Н. Л. Шукине см. примеч. 91.

¹⁶⁷ Билибин Александр Яковлевич в 1910-х гг. преподавал математику в четырех учебных заведениях: в Константиновском артиллерийском и Военно-топографическом училищах, на Высших женских политехнических курсах и Статистических курсах МВД. Брат художника И. Я. Билибина.

¹⁶⁸ Столовая Технологического института, учрежденная в 1879 г., всегда славилась своей дешевизной.

¹⁶⁹ Ястржембский Владислав Серафимович (1880– ?) — архитектор. Окончил Академию художеств в 1912 г. Служил в строительном комитете Министерства народного просвещения. Автор особняка С. И. Михина — 1-я Березовая аллея, 5 (1909–1910); дома Русского товарищества «Нефть» — Сергиевская (Чайковского) ул., 17.

¹⁷⁰ Габе Руфим Михайлович (1875–1939) — архитектор. Окончил Институт гражданских инженеров в 1902 г. Преподавал в Школе десятников по строительному делу и на Женских политехнических курсах. В советское время — исследователь русского народного зодчества, педагог. Автор зданий доходных домов в С.-Петербурге: 11-я линия В. О., 60 (1910), наб. р. Карповки, 30 (1911), Чкаловский (Геслеровский) пр., 58 (1913) и ряда других построек.

¹⁷¹ Гевирц Яков Германович (1879–1942) — художник, архитектор. С 1908 г. — архитектор Преображенского еврейского кладбища. Действительный член Археологического института. В 1910-е гг. — секретарь Общества архитекторов-художников. Автор проекта синагоги в Харькове. Построил ряд зданий в С.-Петербурге: дом Н. Н. Башкирова (Кирилловская ул., 4), доходный дом акционерного общества «Строитель» (Б. Монетная ул., 18), еврейскую богадельню М. А. Гинсбурга (5-я линия В. О.) и др. В годы советской власти — профессор Академии художеств, декан архитектурного факультета (с 1936); создал научные труды по истории и теории архитектуры. Автор архитектурного решения памятника Г. В. Плеханову, художественных надгробий.

¹⁷² Курилко Михаил Иванович — художник, обучался и преподавал в Академии художеств.

¹⁷³ Бернардацци Александр Александрович (1871– ?) — художник, архитектор Департамента народного просвещения. Преподавал на Курсах высших архитектурных знаний Е. Ф. Багаевой и Л. П. Молас, основанных в 1906 г., Высших женских политехнических курсах. Построил в С.-Петербурге несколько зданий.

¹⁷⁴ Зубов Валентин Платонович (1884–1970) — граф; коллекционер, историк искусства. Учился в Германии в Гейдельбергском и Берлинском университетах у известных искусствоведов Х. Вёльфлина и Х. Тоде. В 1912 г. в собственном особняке на Исаакиевский площади, используя свою обширную библиотеку, организовал Институт истории искусств как научное учреждение и учебное заведение. Привлек к преподаванию в нем многих видных специалистов: В. Курбатова, Д. Айналова, И. Иоффе и др. В 1917 г. добровольно передал институт государству и, сохранив пост директора, был назначен управляющим Гатчинским дворцом. В 1923 г. эмигрировал, но продолжал числиться директором института до 1925 г. Реально руководил институтом с 1923-го по 1930 г. Ф. Шмит, который перевел под эгиду института издательство «Academia».

¹⁷⁵ Айналов Дмитрий Власьевич (1862–1939) — искусствовед, ученик Н. П. Кондакова. В 1890–1903 гг. — приват-доцент, затем профессор Казанского университета, в 1903–1917, 1921–1936 гг. — профессор кафедры теории и истории искусств С.-Петербургского университета, в 1907–1916 гг. преподавал историю искусств на Высших женских (Бестужевских) курсах и в Археологическом институте, в 1920-х гг. — на Высших государственных курсах искусствоведения при Институте истории искусств. Опубликовал большое количество работ по истории раннехристианского, византийского, древнерусского искусства, итальянского Возрождения

¹⁷⁶ Бодуэн-де-Куртенэ Иван Александрович (1845–1929) — ученый-лингвист, один из основоположников сравнительного языкознания. Чл.-корр. С.-Петербургской Академии наук (1897), профессор Казанского (1875–1883), Юрьевского (1883–1893), Краковского (1893–1899) и С.-Петербургского (1900–1918) университетов.

¹⁷⁷ См. примеч. 156.

¹⁷⁸ Ошибка автора мемуаров — по «Табели о рангах» военный чин полковника (6-го класса) соответствовал гражданскому чину коллежского советника; чин статского советника (5-го класса) был выше, но в XIX–XX вв. не имел соответствия в иерархии военных чинов.

¹⁷⁹ «Гебен» — линейный корабль, «Бреслау» — легкий крейсер. В начале августа 1914 г. эти немецкие корабли под командованием адмирала В. Сушона совершили прорыв из Средиземного моря в Черное и прибыли в Турцию. 29 октября 1914 г. «Гебен» бомбардировал Севастополь, потопил минный заградитель «Прут» и сильно повредил эсминец «Лейтенант Пуцин». Одновременно «Бреслау» обстрелял Новороссийск. После этих событий, 4 ноября 1914 г., Россия объявила Турции войну. В 1915–1916 гг. эти два немецких судна постоянно обстреливали населенные пункты на русском побережье. В июле 1916 г. «Гебен» бомбардировал Туапсе, так что описанная автором тревога жителей города вполне понятна.

¹⁸⁰ Известный историк и видный политический деятель, лидер партии кадетов Павел Николаевич Милюков (1859–1943), являясь депутатом 4-й Государственной думы, на ее заседаниях неоднократно критиковал правительство. Особое впечатление произвела его речь на открытии думской сессии 1 ноября 1916 г. В ней он оценил деятельность правительства во главе с Б. В. Штюрмером как «глупость или измену» и заявил, что думское большинство будет бороться с ним «всеми законными средствами». Милюков вспоминал, что его выступления и речи других членов партии «были запрещены для печати, но это только усилило их резонанс. В миллионах экземпляров они были размножены на машинках министерств и штабов — и разлетались по всей стране» (Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991. С. 445). Така — Наталья, дочь П. Н. Милюкова

¹⁸¹ Женский политехнический институт осенью 1918 г. был преобразован во 2-й Политехнический институт, в качестве государственного учебного заведения с совместным обучением. В начале 1920-х гг. он был переведен в новое здание (10-я линия В. О., 3) и в 1924 г. расформирован.

¹⁸² Троллоп (Толлопе) Энтони (1815–1882) — английский писатель, автор бытовых романов.

¹⁸³ Скородинский Александр Петрович — гвардии полковник. По данным изд. «Весь Петербург» на 1914 г., служил в Главном артиллерийском управлении.

¹⁸⁴ Ныне пос. Нарва-Йыэсуу (Усть-Нарва) в Эстонии.

¹⁸⁵ Кошко Владимир Степанович (?–1933) — российский государственный деятель. Перед Февральской революцией занимал пост управляющего Отделом сельской экономики и государственной статистики Министерства земледелия; входил также в состав Лыняного комитета и Комитета овцеводства, виноградарства и виноделия. Проживал на 12-й линии В. О., д. 7. Умер в эмиграции, в Белграде.

¹⁸⁶ Кубанская краевая рада была сформирована после Февральской революции 1917 г. и действовала до марта 1920 г., исключая небольшой период власти большевиков с марта по август 1918 г., когда Екатеринодар стал центром Кубано-Черноморской советской республики.

¹⁸⁷ Эккерт Антонин Федорович (по данным изд. «Весь Петроград» на 1917 г.) занимал должность старшего врача Обуховской больницы; его жена Елена Николаевна состояла казначеем Общества взаимопомощи бывшим воспитанницам и воспитательницам Екатерининского воспитательного заведения. Проживали они по адресу: Поварской пер., д. 3.

¹⁸⁸ Казаки, служившие в Собственном е. и. в. конвое — особом подразделении гвардии, личной охране императора. С 1881 г. конвой состоял из 4-х казачьих сотен: по две от Кубанского и Терского казачьих войск. Квартировал в казармах гвардии казаков на Обводном канале.

¹⁸⁹ Михайловского кавалерийского училища в С.-Петербурге не существовало. Видимо, имеется в виду Николаевское кавалерийское училище, в составе которого с 1890 г. имелась особая казачья сотня.

¹⁹⁰ Инбер Вера Михайловна (1890–1972) — известная впоследствии советская писательница, поэтесса; начала печататься в 1910 г.

¹⁹¹ Лесная Лидия Валентиновна (наст. имя Шперлинг Лидия Озясовна) (1889/90–1972) — поэтесса, автор пьес, произведений для детей, актриса. Начала публиковаться в 1907 г. в Киеве.

¹⁹² Шухаев Василий Иванович (1887–1973) — живописец и график, ученик Д. Н. Кардовского (1866–1943), преподаватель художественной школы Гагариной; в 1910-х гг. писал в духе неоклассицизма. В 1920 г. эмигрировал в Финляндию, в 1921–1935 гг. жил во Франции. Вернулся на родину в 1935 г., в 1937 г. арестован и провел в лагерях около 10 лет.

¹⁹³ Яковлев Александр Евгеньевич (1887–1938) — художник, ученик Д. Н. Кардовского, член объединения «*Мир искусства*»; так же, как В. И. Шухаев, в 1910-х гг. считался неоклассицистом. С сентября 1917 г. находился в пенсионной командировке от Академии художеств в Китае, Монголии и Японии. С 1919 г. жил и работал в Париже, затем в Брюсселе, участвовал в выставках и добился успеха.

¹⁹⁴ Речь идет о неудачной попытке Добровольческой армии, возглавляемой генералами М. В. Алексеевым и Л. Г. Корниловым, захватить в апреле 1918 г. Екатеринодар, где была власть большевиков. Во время этого наступления ген. Корнилов был убит в результате случайного взрыва артиллерийского снаряда.

¹⁹⁵ Вайтенс Андрей Петрович (1878–1940) — архитектор-художник, окончил Академию художеств в 1904 г. Преподавал в Ленинградском художественно-техническом институте. Автор зданий в С.-Петербурге, Царском Селе, на Черноморском побережье Кавказа и в других местах.

¹⁹⁶ Кричинский Степан Самойлович (1874–1923) — архитектор. С 1899 г. служил в Главном управлении неокладных сборов и казенной продажи питей. Главный архитектор Отдельного корпуса пограничной стражи. Преподаватель Института гражданских инженеров и Кубанского политехнического института. После революции — председатель Технического комитета Наркомпроса, инженер Наркоминдела. Автор зданий церквей и доходных домов в С.-Петербурге, ряда усадебных построек, дворцов и особняков в пригородах столицы; участвовал в создании торгового дома Гвардейского экономического общества на Б. Конюшенной улице и здания Соборной мечети на Каменноостровском проспекте.

¹⁹⁷ «*Сатирикон*» — еженедельный журнал сатиры и юмора, издавался в 1908–1914 гг. в С.-Петербурге, редактор А. Т. Аверченко. В журнале печатались Саша Черный, П. П. Потемкин, В. И. Горянский и др. В 1913–1918 гг. часть сотрудников издавала журнал «*Новый Сатирикон*».

¹⁹⁸ Виньола (Vignola; наст. фам. Бароцци, Barozzi) Джакомо да (1507–1573) — итальянский архитектор.

¹⁹⁹ Пиранези (Piranesi) Джованни Батиста (1720–1778) — итальянский гравер.

²⁰⁰ «*Старые годы*» — ежемесячный иллюстрированный журнал для любителей искусства и старины. Искусствоведческое периодическое издание, выходившее в С.-Петербурге (Петрограде) в 1907–1916 гг. Своими публикациями и иллюстративными материалами пропагандировало идею охраны памятников русской культуры.

²⁰¹ «*Мир искусства*» — литературно-художественный иллюстрированный журнал, орган одноименного объединения. Выходил в С.-Петербурге в 1898/99–1904 гг. Издатели: в 1899 г. — кн. М. К. Тенишева и С. И. Мамонтов, затем — С. П. Дягилев (главный редактор).

²⁰² «*Памятники Италии*» (итал.).

²⁰³ Петровский Алексей Алексеевич (1873–1942) — ученый-электротехник и радиотехник. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1941). Преподавал в С.-Петербургском электротехническом институте (1909–1922), Морской академии (1910–1924), Ленинградском горном институте (1928–1938) и других учебных заведениях.

²⁰⁴ Известный поэт и переводчик С. Я. Маршак в 1917–1922 гг. жил в Екатеринодаре. В 1918 г. заведовал секцией детских домов и колоний Областного отдела народного образования. После прихода белых в 1918–1920 гг. сотрудничал в газете «*Утро Юга*», печатал стихотворные фельетоны, направленные против большевиков, в поддержку денкинского движения. После вступления в город красных в 1920 г. вместе с Е. И. Васильевой (Черубиной де Габриак) организовал детский театр; они писали для него пьесы-сказки, иногда в соавторстве (см.: *Васильева Е., Маршак С.* Театр для детей. Сборник пьес. Краснодар, 1922).

²⁰⁵ Успенский Глеб Иванович (1843–1902) — русский писатель, изображавший в своих произведениях быт различных городских слоев и жизнь русской деревни.

²⁰⁶ Правильно: Черубина де Габриак — литературный псевдоним поэтессы Елизаветы Ивановны Васильевой (урожд. Дмитриевой) (1887–1928), которая дружила и сотрудничала с С. Я. Маршаком.

²⁰⁷ Лансере Николай Евгеньевич (1879–1942) — художник, член объединения «Мир искусства». Сын скульптора Евгения Александровича Лансере (1848–1886), брат художника Евгения Евгеньевича Лансере (1875–1946).

²⁰⁸ Женский Патриотический институт (В. О., 10 линия, д. 3) — среднее закрытое учебное заведение, существовал в 1827–1918 гг.

²⁰⁹ Бенуа Леонтий Николаевич (1856–1928) — академик архитектуры (1885). Профессор (1892) и действительный член (1893) Академии художеств; ректор Высшего художественного училища Академии (1903–1906, 1911–1917); преподаватель и профессор Института гражданских инженеров (1883–1893, 1920–1927) и других учебных заведений. Архитектор Высочайшего двора. Редактор журнала «Зодчий» (1893–1896). Инициатор создания общего плана развития столицы, один из авторов «Проекта преобразования С.-Петербурга». Автор многих зданий и сооружений в столице и других городах. Продолжатель традиций русского классицизма: создал западный корпус Русского музея в С.-Петербурге.

²¹⁰ Покровский Владимир Александрович (1871–1931) — академик архитектуры (1907), действительный член (1909), член совета (1915) Академии художеств, архитектор Высочайшего двора (с 1913). Преподавал в Академии художеств (1912–1918), Институте гражданских инженеров (1914–1931, с 1917 — профессор); профессор и декан Женских политехнических курсов. Член правления Общества архитекторов-художников. Товарищ председателя дирекции Музея Старого Петербурга (с 1909). Член объединений «Мир искусства» и Общества возрождения художественной Руси. В своих стилизациях в духе «модерна» использовал формы русской архитектуры XVII в. Автор многих зданий в С.-Петербурге и других городах России. Один из авторов проекта Волховской ГЭС.

²¹¹ Фомин Иван Александрович (1872–1936) — академик архитектуры (1915), художник-график, исследователь русского зодчества XVIII — нач. XIX в.; выдвинул программу «реконструкции классики» — сочетания традиций русской классической архитектуры с современными методами строительства. Организатор и преподаватель Московских строительных курсов (1901–1905). Секретарь дирекции (с 1909), товарищ председателя (1910–е) Музея Старого Петербурга. Профессор Политехнического института (1916–1924), Академии художеств (1918–1928, 1934–1935). Руководитель Архитектурной мастерской по урегулированию плана Петрограда и его окраин (1919–1922). С 1929 г. работал в Москве; руководитель архитектурно-проектной мастерской Моссовета (1933–1936). Автор зданий и сооружений в С.-Петербурге, Москве, Киеве и других городах.

²¹² Белогруд Андрей Евгеньевич (1875–1933) — архитектор, реставратор, художник. Член правления Общества архитекторов-художников. Редактор «Архитектурно-художественного еженедельника» (1915–1917). Профессор Женского политехнического института (1912–1925), Политехнического института (1926–1930). Профессор, ректор (1920–1922), декан архитектурного факультета (1922–1928) Академии художеств. Член правления Ленинградского отделения Союза советских архитекторов. Автор ряда зданий в С.-Петербурге. Руководитель проекта реконструкции Сталинграда.

²¹³ Институт физического образования им. П. Ф. Лесгафта, открытый в 1919 г. на базе Курсов воспитательниц физического образования, с момента основания находился на ул. Декабристов, д. 35. Ранее курсы действовали при Биологической лаборатории П. Ф. Лесгафта (с 1918 г. — Естественнонаучном институте) на Английском пр., д. 32, и располагались там же. Неясно, о какой астрономической обсерватории идет речь.

²¹⁴ Троцкий Ной Абрамович (1895–1940) — архитектор. Автор зданий в Ленинграде: Кировского райсовета (1930–1935), Дворца культуры им. Кирова (1930–1937), административного здания на Московском проспекте (1936–1941) и др.

²¹⁵ Речь идет о так называемых исторических музеях дворянского быта в бывших дворцах, которых к началу 1922 г. в городе насчитывалось 5; кроме того, действовало 6 художественных музеев и 2 художественно-прикладных музея.

²¹⁶ Общество «*Старый Петербург*» (с 1925 г. «*Старый Петербург — Новый Ленинград*») — научно-историческое общество, созданное в 1921 г. с целью изучения, популяризации, охраны и восстановления памятников истории и культуры Петербурга и его окрестностей. Первый председатель Общества — директор Музея истории города Л. А. Ильин, члены совета: Б. В. Асафьев, А. Н. Бенуа, В. П. Зубов, В. Я. Курбатов, П. Н. Столпянский. Заседания Общества проходили сначала в быв. доме Мятлева (Исаакиевская пл., 9/2), с 1924 г. — в быв. дворце Бобринских (Галерная ул., 60), в здании Академии художеств, Доме ученых и Аничковом дворце. В 1938 г. Общество ликвидировано, его архивы и собрания переданы Музею истории города.

²¹⁷ Штакеншнейдер Андрей Иванович (1802–1865) — архитектор. Строил императорские, великокняжеские и другие дворцы в С.-Петербурге, используя в духе эклектики исторические архитектурные стили. Автор Мариинского (1839–1844), Николаевского (1853–1861) и других дворцов.

²¹⁸ Соколов И. И. — биолог, профессор Петроградского (Ленинградского) университета.

²¹⁹ Дерюгин Константин Михайлович (1878–1938) — зоолог и гидробиолог. С 1917 г. — доцент, с 1918 г. — профессор Петроградского (Ленинградского) университета. Разрабатывал методы комплексного исследования водоемов и биогеографического анализа фауны для изучения эволюции моря и его фауны.

²²⁰ Филиппченко Юрий Александрович (1882–1930) — биолог, генетик. С 1913 г. начал чтение в С.-Петербургском университете первого в России курса лекций по генетике. С 1919 г. — профессор организованной им в Университете кафедры генетики и экспериментальной зоологии. Создал в Академии наук лабораторию, реорганизованную в 1933 г. в Институт генетики.

²²¹ Лаппо-Данилевский Иван Александрович (1896–1931) — математик, чл.-корр. АН СССР (1931), умер во время поездки в Германию. Сын известного историка Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского (1863–1919), академика Петербургской Академии наук (1899).

²²² Смирнов Владимир Иванович (1887–1974) — математик, академик АН СССР с 1943 г. (чл.-корр. с 1932). С 1915 г. — профессор Петроградского (Ленинградского) университета, в 1912–1930 гг. — Института инженеров путей сообщения. Удостоен Государственной премии СССР за фундаментальный «*Курс высшей математики*» (т. 1–5, 1924–1947).

²²³ Бухштаб Борис Яковлевич — литературовед, исследователь русской литературы XIX в. Подготовил ряд собраний сочинений русских классиков.

²²⁴ Гинзбург Лидия Яковлевна (1902–1990) — литературовед, писательница; автор трудов о М. Ю. Лермонтове, А. И. Герцене и др.

²²⁵ «*Сеятель*» — частное издательство Е. В. Высоцкого, действовало в Петрограде–Ленинграде в 1922–1930 гг. Выпускало ежегодно 50–60 наименований научной, научно-популярной и учебной литературы по всем отраслям знаний.

²²⁶ Лименда — рабочий поселок на одноименной реке, в то время входил в состав Архангельского округа Ленинградской области.

²²⁷ Речь идет о местном отделении Рабпроса — Союза работников просвещения СССР.

²²⁸ О Е. Д. Стасовой см. примеч. 60.

²²⁹ Журнал «*Revue générale de l'électricité*» издавался в Париже Французским обществом электротехников (Société française des électriciens).

²³⁰ Торгсин — Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами.

²³¹ Журнал «*Электричество*» издавался в С.-Петербурге (Ленинграде) в 1880–1941 гг., возобновлен в 1944 г.

Нестор № 12. Русская жизнь в мемуарах

²³² Русское физико-химическое общество создано в 1878 г. в результате объединения Русского физического (с 1872) и Русского химического (с 1868) обществ. Съезды и публикации Общества были важной формой организации научной деятельности в России до 1917 г. В число членов Общества входили Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев и др. Реорганизовано в 1930 г.

²³³ По-видимому, речь идет о какой-то знакомой жительнице Архангельска.

²³⁴ «Участие русских ученых» (фр.).

²³⁵ Имеется в виду издававшийся в Лондоне журнал «*Philosophical magazine. A journal of theoretical, experimental and applied physics*».